

Детство

1989

6



Рюрик Каледин.***

С выставки «Свободное искусство».

Фото Юрия Житлухина

Даугава

1989

6

ИЮНЬ (144)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- Евгения ГИНЗБУРГ.** Крутой маршрут. Хроника
времен культа личности. Окончание 3
- Кнут СКУЕНИЕКС.** Твое окно. Стихи. Вступление
Юлия Даниэля 36
- Юлий ДАНИЭЛЬ.** Еще одна песенка. Стихи.
Вступление Кнута Скуениекса 40
- Янис КАЛНЫНЬ.** Портрет в тронном зале. Рас-
сказ 45

Публицистика

- Айварс СТРАНГА, Мартиньш ВИРСИС.** Сороко-
вые, роковые 68

Memoria

- Лев КОПЕЛЕВ, Раиса ОРЛОВА.** Евгения Гинзбург
в конце крутого маршрута 80
- Роман ТИМЕНЧИК.** Об одном из последних собе-
седников Ахматовой: юбилейные заметки . . . 100
- Н. А. БЕРДЯЕВ.** О творческой свободе и Фабрика-
ции душ 102

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е (окончание):

Культурология

Максим ШАПИР. Поэзия и наука в творчестве	
Александра Страхова	106
Александр СТРАХОВ. Стихи	108

Обзоры, размышления, рецензии

Андрей ЛЕВКИН, Вадим РУДНЕВ. Быть или не быть. Разговор двух критиков поневоле	111
---	-----

Искусство

Альфия АХМЕРОВА. Театр говорящих красок и форм, или Галерея ART	117
--	-----

Картотека Юрасова-III	120
--	-----

Почта «Даугавы»	126
----------------------------------	-----

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия
Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО. Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция
Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

Глава шестнадцатая

КОМЕНДАНТЫ ИЗУЧАЮТ КЛАССИКОВ

В середине августа я получила по почте официальный пакет. Магаданский отдел народного образования приглашал меня зайти для переговоров о назначении на работу. Пакет пришел в пятницу, а идти надо было в понедельник. Мне предоставлялось, таким образом, целых три дня для колебаний между боязнью «сглазнуть» и непреодолимым желанием показать эту бумажку всем, кто предрекал неудачу моим дерзким претензиям.

Не выдержала — показала. Неслышанный пакет передавали из рук в руки, перечитывали, обсуждали. Вызывают в горно! Вечную поселенку — в горно! По неудержимой склонности к широким обобщениям на основе единичных фактов, наши бывшие заключенные истолковали эту бумажку как вернейшее знамение скорой всеобщей реабилитации. Отдельные закоренелые скептики кривили губы: «Какая-нибудь хитрость! Не может этого быть».

Поверить, действительно, было трудно. Конечно, горно не такое учреждение, как, скажем, главк или политуправление, величественное с виду, окруженное охраной. Но все-таки и горно — один из островков вольного мира. Туда вход для касты непроникаемых прочно закрыт. Это не то что наше сануправление, где работает масса бывших ээка и поселенцев.

Я первая из наших переступаю этот порог. И пока иду по незнакомым коридорам, меня не оставляет чувство ожидания внезапного удара. В отделе кадров на переднем плане — очень нарядная дама с державным бюстом. В глубине комнаты, спиной к двери — мужская фигура, склонившаяся над бумагами. Молча протягиваю даме мою заветную бумажку. Она долго вчитывается в нее с таким напряженным видом, точно это китайские иероглифы.

— Это вы сами и будете? — вопрошает она наконец.

Потом она подходит к сейфу, огромному, храмообразному, вынимает оттуда бумажные листы и кладет их передо мной.

— Заполняйте!

Анкета. Анкета для лиц, вступающих на педагогическое поприще в этом благословенном крае. Уникальная в моей жизни анкета. Потому что в тридцатых годах таких ЕЩЕ не было, а после двадцатого съезда и нашего возвращения на материк их УЖЕ не было. Эта анкета произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор помню отдельные вопросы. Девичья фамилия матери вашего первого мужа? В скобках — второго, третьего . . . Назовите адреса и места работы ваших братьев, их жен, ваших сестер и их мужей. Боже мой, Боже мой! Куда я лезу? Уж не лучше ли было оставаться в мире семерых козлят? Там хоть про такое не выпытывали. Но пути к отступлению были отрезаны.

— Сядьте вон за тот столик и заполняйте четким почерком, без помарок, — распорядилась дама, а сама углубилась в какие-то очень красивые разноцветные полированные папки.

Надо было видеть лицо этой кадровички, когда после долгой работы я выложила наконец перед ней заполненные листы. И как было по-человечески ее не понять! Ей, призванной вылавливать какую-нибудь раскулаченную двоюродную бабушку, или жену деверя с нерусской фамилией, ей, натренированной на такие тонкости, вдруг с циничной открытостью вывалили прямо на стол смертные террористические статьи Уголовного кодекса, Военную коллегию, вечное поселение, двух репрессированных мужей и кучу репрессированных родственников со стороны Антона. Не говоря уже о массе немецких фамилий, которых не могли перекрыть православные Аксеновы, поскольку у Павла была всего одна сестра и один брат, а у Антона четыре сестры и четыре брата, двое из которых находились к тому же в Западной Германии.

— Андрей Иванович! — позвала кадровичка смятенным голосом. — Можно вас на минуточку?

Она звала на помощь, хотя ей было известно, что по каким-то неизвестным высшим соображениям меня решили допустить к преподаванию, что есть указание «оформить». Но она просто не могла с собой справиться. Годами выработанные условные рефлексы валили ее с ног. Она была сейчас точно борзая, которую почему-то заставляют отпустить пойманную дичь.

Молодой человек, сидевший к нам спиной, встал и подошел к столу дамы. У него была запоминающаяся наружность. Этаким дореволюционный классный наставник с матовым челом. Он был явно умен. По его внимательным глазам и удлиненному сжатому рту было видно, что за время, протекшее с пятого марта, он, в отличие от своей начальницы, кое-что понял и, во всяком случае, научился ничему не удивляться. С непроницаемым видом он прочел список моих преступлений и данные моей генеалогии. Потом сказал:

— Отлично!

Дама вздрогнула.

— Отлично, — продолжал он, — теперь напишите заявление о предоставлении вам вакантной должности преподавателя русского языка и литературы в школе взрослых. Приложите документы об образовании.

Дама оживилась от вспыхнувшей надежды.

— Документов об образовании у вас на руках, конечно, нет? — спросила она.

— Почему же? Вот, пожалуйста. Правда, копии. Но законно заверенные . . .

Неприятно пораженная, она стала внимательно читать мои дипломы. Аккуратно подбривтые бровки все ползли и ползли вверх. Бедняге не легко давалась задача — совместить такие дипломы с ТАКОЙ анкетой. Но ее collega мгновенно сориентировался.

— Вот и хорошо, что будете работать со взрослыми. Вам, как вузовскому работнику, это будет привычнее, чем детская школа.

Привычнее! Господи, да был ли мальчик-то? Где-то далеко-далеко, в непроглядной дали — за горами, за долами, за тюрьмами-лагерями, — маячила в извилинах памяти некая молодая дуреха, самоуверенно вещавшая с кафедры хорошо заученные уроки.

На минуту меня охватывает ужас. Куда я лезу? Чему я буду учить? Может быть, я уже все забыла? Может быть, они не захотят меня слушать?

— Ну вот, резолюция уже есть, — очень лояльно говорит этот самый Андрей Иванович, возвращаясь с моими бумагами от начальства, — сейчас получите выписку из приказа и можете идти к директору школы.

... Накануне первого сентября у меня от волнения пропал голос. Не совсем пропал, но стал хриплым, как у пропойцы.

— Нервный ларингит, — диагностировал Антон и дал мне гомеопатические шарики трилистника, по прозвищу «Джек на кафедре».

Не знаю, помогало ли это Джеку. Мне — нет. Джек-то, наверно, не возвращался на свою кафедру из таких дальних странствий, как я.

— К уникальной ситуации не подходят обычные лекарства, — объявила я Антону, сильно прогневив его этим. — Вылечусь сама!

И я действительно вылечилась сама так же неожиданно, как заболела. От удивления. От неподвижного удара.

— Вот ваши ученики, — сказала директорша школы, вводя меня в класс.

Что это? Передо мной, сверкая золотыми погонами и отлично вычищенными сапогами, сидели офицеры. Одни сплошные офицеры. Сорок человек. Среди них мелькали знакомые мне лица. Да это наши коменданты! Бывшие и нынешние! Молодые и постарше. Позднее мне объяснили, что в связи с новыми веяниями от офицеров потребовался образовательный ценз, и им срочно пришлось идти в школу взрослых приобретать ставший необходимым аттестат зрелости.

А я-то рисовала себе в качестве моих учеников рабочих с авторемонтного завода, из аэропорта, может быть, грузчиков из бухты Нагаево. Я представляла себе мужественных трудолюбивых людей, среди которых будет много моих товарищей по несчастью. Мечтала о том, как я сдружусь с ними, как они будут благодарны мне за то, что я смогу дать им. И вот...

— Преподавательница русского языка и литературы, — представила меня директорша, и я увидела, что в глазах комендантов вспыхнуло острое любопытство, насмешливая ухмылка, даже, пожалуй, враждебность. Тем не менее все они встали и по-военному четко гаркнули:

— Здравствуйте, товарищ преподаватель!

— Здравствуйте, товарищи! — ответила я, с удивлением обнаруживая, что ко мне вернулся мой прежний голос. Меня вылечила, повторяю, неожиданность удара. А нельзя отказать им в остроумии! Уж если им, по каким-то соображениям, пришлось взять на педагогическую работу такую подозрительную личность, то по крайней мере бдительность, при этом составе слушателей, будет обеспечена. И действительно, в их взглядах, устремленных на меня, больше всего сквозила бдительность и меньше всего любознательность, желание получить от меня что-то новое, до сих пор не известное им.

— Ну как, ну как я буду строить с ними отношения, когда на первой парте сидит Горохов, мой комендант? Тот самый, что два раза в месяц ставит лиловый штамп на моем удостоверении . . .

— А помнишь, ты рассказывала, что все объявления, которые он вывешивает, пестрят ошибками . . . Вот и научи его русской грамматике, — спокойно утешал меня Антон.

— Но я стою перед ним в очереди . . . Он, да и все они считают меня преступницей . . .

— Наверяд ли. В общем-то большинство из них деревенские Ванятки. Чувство реальности, наверно, есть у них . . . А еще поучатся годик — совсем другими людьми станут . . . Самое главное, абсолютно забудь про их погоны и чины. Обращайся с ними как с обычными учениками . . .

Легко сказать! А каково рвать прочные устоявшиеся условные рефлексы! Эти сапоги, эти гладко выбритые скулы и канты на воротничках вызывали во мне комплекс преследования. Я без конца всматривалась в эти лица и видела в них только надменность или, в лучшем случае, усмешку принужденного внимания. Я входила в класс и, казалось, физически ощущала излучение угрюмого недоверия. Некоторые, наверно, держат ухо востро в ожидании, когда я начну «протаскивать» что-нибудь такое идеологически сомнительное. Другие, видимо, не верили, что я действительно постигла бездну премудрости. Эти дотошно переспрашивали даты, названия местностей, заглавия произведений, откровенно заглядывая в учебник для проверки.

Отношения еще больше обострились после первого контрольного диктанта. Он принес колоссальный урожай двоек. Мрачная атмосфера стухнула над классом. Теперь эти люди, до сих пор настроенные против меня, так сказать, в общем порядке, были еще и персонально оскорблены мной. Те, кто был поумнее, просто затаили недоброжелательное чувство, но те, кто не мог смириться ни со своей непривычной ролью, ни вообще с новыми веяниями, — пошли в дирекцию жаловаться.

В класс после этой жалобы пришел завуч. Он убедительно и многословно разъяснял, что товарищи офицеры не должны думать, будто отметки выставляются по произволу преподавателя. Имеется «шкала», утвержденная министерством, по которой за четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки положено ставить двойку.

Против таких слов, как «шкала», «министерство», «положено», они, разумеется, возражать не могли, но раздражение против меня осталось. Особенно долго не мог смирить себя капитан Епифанов. Это был коротконогий круглый человек, похожий на актера ТЮЗа в гриме Ежа. Орфографию он еще с грехом пополам признавал, но в вопросе о пунктуации был непримирим. Его возмущали даже запятые, не говоря уже о двоеточиях и тире. Он и мысли не допускал, чтобы подобная мелюзга могла действовать на нервы солидным людям.

После второго диктанта, за который я снова недогнувшей рукой поставила ему двойку, он возглавил целую оппозиционную ко мне группу, прерывая мои объяснения нелепыми вызывающими вопросами. На уроках синтаксиса я всегда ловила на себе колкие вспышки его ежиных глаз.

Тогда я прибегла к древнейшему примеру, описанному Вересаевым в гимназических воспоминаниях. Я написала на доске предложение без знаков препинания. Это была резолюция Николая II на прошении приговоренного к смерти преступника. «Расстрелять нельзя помиловать». Потом обратилась к Епифанову с вопросом: будет ли по такой резолюции казнен осужденный? Мой строптивый ученик долго пыхтел, глядя на доску исподлобья, наконец махнул рукой.

— Николай II был известный идиот! Написал, что и так и этак понять можно.

— Ну а теперь? — спросила я, ставя запятую после слова «расстрелять».

— Гм . . . Теперь, выходит, расстреляют . . .

— А если так? — Я стерла эту запятую и поставила новую после слова «нельзя».

— Помилован! — зашумел сразу весь класс.

— Теперь вы видите, товарищ Епифанов, что от одной запятой, поставленной не на месте или не поставленной вовсе, может зависеть жизнь человека!

Этот давнишний грамматический курьез явно понравился моим неискушенным слушателям. На перемене они окружили меня, задавая разные казуистические вопросы о знаках препинания, приводя примеры, споря друг с другом.

Другой случай, когда лед между ними и мной немного тронулся, был связан со старшим лейтенантом Насреддиновым. Я давно внутренне выделила его как любознательного человека, напоминавшего мне к тому же моих казанских давнишних рабфактовцев. Чувствовала я и с его стороны сравнительно доброе отношение к себе. Насреддинов очень плохо говорил, еще хуже писал по-русски, но на двойки нисколько не обижался и учился усердно.

Однажды он отвечал перед всем классом, говорил о Маяковском, о его стихах «Товарищу Нетте». Бедняга лейтенант просто взмок от напряжения, передавая прихотливые строки. И все облегченно вздохнули, когда он объявил, что переходит к характеристике «идейного содержания» этих стихов.

— Минуточку, товарищ преподаватель . . . Отвечать будем . . .

Дальше Насреддинов разъярился, что «зажатые железной кляпкой» — это значит — живем в капиталистическом окружении, «пулею чеши-те» — это значит — не подходи, стрелять будем! А вот «за нее на крест» . . .

Насреддинов, наклонив голову, набычился и покраснел в усилении понять непонятное.

— Минуточку, товарищ преподаватель . . . Отвечать будем . . .

Вдруг — радостная улыбка. Осенило!

— Ага! Понятно! «За нее — на крест» . . . Крест русские на могилы ставят. Значит, не подходи, стрелять будем, крест ставить будем . . .

Веселый смех, пронесшийся по классу, сразу внес человеческую теплоту, разрядил напряженную атмосферу. Что может быть лучше доброго юмора, чтобы в лицах раскрылось первичное, детское, свободное от напластований жестокого взрослого опыта!

Летели дни, и постепенно я стала различать среди моих офицеров разные психологические типы. Вот, например, лейтенант Сумочкин — тот совершенно недвусмысленно высказался как-то насчет литературного ремесла и тех, кто им занимается. Оказалось, что тут и хитрости-то никакой особой нет. Каждый грамотный человек может, тем более если не стихами, а прозой. Описывай, как было дело, да вставляй время от времени картины природы. Его сосед по парте поддержал его, добавив только, что идейность должна соблюдаться. Были бы правильные идеи, а уж написать — это всякий может.

Никакие мои усилия не могли сдвинуть их с позиций этой твердокаменной воинствующей тупости. Она звучала в их речах так же определенно, как звучит порой вятский или одесский акцент.

Были в классе и железные забияки. Они тоже глубоко презирали писак, щелкоперов, интеллигентов, но выражали свои чувства весело-задиристо, напрашиваясь на возражения, на спор. Эти не так обескураживали меня. В самой их наступательности, в желании поспорить уже присутствовало что-то человеческое. Была надежда их понять, прорваться сквозь броню их обросших упитанным мясом сердец к самой сердцевинке, где, возможно, что-то и таилось.

— Позвольте, а зачем вам это нужно, к сердцам-то ихним пробиваться? И что вы можете в глубине этих жандармских сердец обнаружить?

Так резко оборвал в одно из воскресений мои излияния друг Антона Михаил Францевич Гейс, тот самый, что первым принес нам весть о смерти Великого и Мудрого. Гейс был непримирим в своей памяти о пережитых им муках. Он не делал различий между Вдохновителем и Организатором и десятками тысяч Ваняток, ставивших штамп на наши ссыльные удостоверения. С самого начала он советовал мне отказаться от работы в школе, поскольку «вместо учеников вам подсунули палачей».

— Ладно, допустим, вам очень трудно было отказаться от работы по специальности, которой вы так жаждали все время. Ну и учите уж их чему положено. Но душу-то зачем вкладывать? Поберегите ее до лучших времен. А они недалеко . . .

Гейс с необычайным энтузиазмом ловил малейший признак оттепели, ждал далеко идущих последствий, и в его мечтах о наступлении лучших времен немало место занимали мысли о возмездии палачам. И почти каждое воскресенье он «осаживал» меня в связи с моими рассказами о работе в школе. Эти столкновения оставляли во мне горький осадок, тем более, что его четкой позиции я пока не могла противопоставить окончательно продуманную точку зрения. Только оставаясь наедине с Антоном, я не стеснялась высказывать пока еще не оформившиеся возражения Гейсу.

— Так ведь конца не будет, правда? Они — нас, потом — мы их, потом опять . . . До каких пор будет кругом ненависть? Ну я не говорю, конечно, о главных, пусть о них решается вопрос в меру их преступлений, но вот такие коменданты . . . А сколько раз в лагере мы выживали благодаря добрым конвоирам! А Тимошкина вспомни! А ты знаешь, что третьего дня было после урока о Пушкине? Лейтенант Погорелко подошел ко мне уже на перемене и попросил меня прочесть еще раз, или, как он выразился, «рассказать» еще раз стихи Пушкина «Безумных лет угасшее веселье». А когда я ему сказала, что ведь уже был звонок и разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем, а вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина. А они — Погорелко и еще человек пять — не ходили курить, слушали. И как еще слушали! И хочешь презирай меня — хочешь нет, но я видела в них в это время не комендантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им нравились именно те стихи, которые люблю я . . .

На одном из очередных заседаний педсовета завуч сдержанно сказал, что офицеры моими уроками довольны. А еще через неделю ко мне подошел староста класса капитан Разуваев и высказался в том смысле, что сейчас, поздней осенью, вечера стали очень ветреными и темными. Возвращаться домой после уроков в одиннадцать часов ночи, да еще идти через пустырь в Нагаево, стало небезопасно. И класс постановил ввести дежурство. Каждый день меня будет провожать кто-нибудь из офицеров до самого дома.

Меня обычно встречал Антон, но в те вечера, когда он дежурил по ночам (он снова работал теперь в больнице), мне действительно приходи-

лось трудно. Поэтому я с радостью приняла предложение офицеров. Теперь, когда я спускалась вниз в раздевалку, меня ждал уже там один из моих вооруженных учеников, и под его охраной я спокойно возвращалась в Нагаево.

Немало я походила под конвоем, но такое оригинальное конвоирование было даже мне внове. Мы дружно шагали в ногу, а на рытвинах и ухабах очередной спутник деликатно поддерживал меня под руку. Разговоров во время этих возвращений было то больше, то меньше, в зависимости от характера дежурного провожатого, но одно соблюдалось всегда: мы никогда не говорили о политике, хотя события напряженно нарастали и каждый день приносил с собой новые впечатления, надежды и разочарования.

Мы говорили почти всегда о литературе, о классиках, которых мы изучали в классе. Часто это была с их стороны дань вежливости, заполнение пустого времени. Но порой прорывались вдруг признаки неподдельного интереса к книге. Иногда я использовала это время для дополнительных занятий на ходу. Память у меня тогда была очень хорошая, я помнила индивидуальные ошибки каждого и разъясняла ему их, пробираясь через наш знаменитый пустырь.

Однажды пришла очередь провожать меня моему собственному коменданту Горохову. Всю дорогу я толковала ему о правописании суффиксов прилагательных, а уже на спуске к Нагаеву вдруг вспомнила вслух:

— Да, завтра ведь пятнадцатое! Завтра мне к вам в комендатуру. Отмечаться . . .

Горохов (это был молодой, довольно красивый блондин ярославского типа) внезапно остановился, пристально глядя на меня, и ни с того ни с сего спросил:

— А вот Молотова вы знаете?

— Конечно. Не лично, но достаточно подробно. По его деятельности.

— А ведь вот его жена в таком же положении, как вы . . . Не в нашей, правда, комендатуре, но тоже отмечается.

Я не очень удивилась, так как уже слышала об этом. Гораздо любопытнее мне было уловить ход мыслей Горохова.

— В таком же . . . В таком же . . . — задумчиво повторил он и вдруг решительно добавил: — Скоро, наверно, все это кончится.

Я дипломатично промолчала. Прощаясь со мной у моего крыльца, он шутя поблагодарил «за дополнительное занятие на ходу» и сказал, чтобы я завтра пришла минут за десять до открытия комендатуры. Он придет пораньше и быстро меня отметит, а то ему каждый раз неловко при мысли, что такая образованная дама стоит — да хоть бы и сидит — у него в коридоре.

— Подумаешь, образованная, — не упускаю я случая навести его на недозволенные мысли, — да у вас там крупных ученых полно. Вот хоть старик Гребенщиков. За мной стоял прошлый раз. Известный геофизик. Член-корреспондент Академии наук.

— Это тот, что сильно кашляет?

— Он самый. Дневальным в бараке строителей работает.

. . . А между тем вопрос о том, возможно ли, допустимо ли доброе отношение к таким оригинальным ученикам, как мои, не сходил с повестки дня за нашим воскресным столом. Мои отношения с Гейсом заметно ухудшались. Меня злило, что я не всегда нахожу достаточно убедительные возражения против его хлестких аргументов, в то время как внутренне убеждена, что я права. Гейс вел себя наступательно. Зло острил.

— Так, значит, они в сущности славные ребята, эти офицеры определенного ведомства? И их довольно приятно обучать классической литературе? Тем более, что вам так хотелось вернуться к своей профессии . . .

— Не касайтесь этой стороны вопроса. Да, я много лет томилась по своей работе. Все время алчно мечтала о том, чтобы писать и преподавать . . . Все годы, пока я пилила, кайлила, мыла полы, перевязывала язвы и прочая и прочая . . . Вы это считаете моим преступлением? Проявлением беспринципности?

— Да, поскольку вас назначили просвещать тюремщиков . . .

— А вам не приходит в голову, что среди рядовых армии Зла есть люди, много людей, которых можно перетянуть на сторону Добра?

И тут на меня вдруг напало вдохновение. Я стала говорить о том, что в нашу эпоху, с ее невиданными масштабами, с ее стертостью линии, отделяющей палачей от жертв (сколько людей, прежде чем самим попасть в сталинскую мясорубку, с азартом перемалывали в ней других!), нет больше той баррикады, которая, скажем, в девятьсот пятом году четко разграничивала: по ту сторону ОНИ, по эту — МЫ. Неслыханная система разложения душ Великой Ложью привела к тому, что тысячи и тысячи простых людей оказались втянутыми в эти соблазны. И что же? Мстить им всем? Подражать тирану в жестокости? Длить без конца торжество ненависти?

— Да уж, понятно, не «сеять разумное, доброе, вечное» на таком каменистом поле, как комендатура МГБ!

— Позвольте, Михаил Францевич, — вмешался вдруг в разговор профессор Симорин, один из наших постоянных воскресных гостей, — давайте перенесем вопрос в практическую плоскость. Вот сейчас все мы ждем с нетерпением — обоснованно или нет, будет видно дальше — радикальных перемен в нашем обществе. Представьте себе возвращение к тому, что было задумано в идеале. Как же вы в этом случае мыслите судьбу всех этих бесчисленных маленьких комендантов, охранников, конвоиров? Сплошным Нюрнбергским процессом, что ли?

— Да! Десятками, даже сотнями таких процессов! — запальчиво воскликнул Гейс. — Месть беспощадная, нет, не месть, а возмездие всем сообщникам Тирана, всем его сатрапам! Пусть получит свое каждый винтик палаческой машины!

Я видела, что Гейс зарвался, что он говорил уже больше того, что думает и чувствует. Я вспомнила, как много он испытал, и мне как-то даже жалко его стало за такое разрывающее душу ожесточение. Мне очень хотелось привести вслух короткое изречение, ставшее эпитафией к «Анне Карениной»: «Мне отмщение и Аз воздам». Но я стеснялась вымолвить эти слова. В те времена во мне еще крепко сидели если не мысли, то подсознательные движения души, привитые уродливым воспитанием. Те размышления о Вечном и временном, о Целом и маленьких беспомощных его частицах-людях, которые я доверяла тюремным нарам в доме Васькова, я еще не могла выговаривать вслух. И вместо этой короткой исчерпывающей евангельской Истины я наговорила Гейсу кучу куда менее убедительных слов.

— Вы говорите: если оставить злодеев безнаказанными, они в конце концов разорвут мир на части. Вы, наверное, правы, если говорить о главных злодеях, о «вдохновителях и организаторах». Но ведь если встать на путь преследований каждого, кто по недомыслию, по трусости, по слабости, по жадности, по доверчивости, по темноте творил Зло, если снова поощрять звериную жестокость, пусть даже по отношению к вчерашним винтикам в сложной машине злодейства, чем все это кончится? Ведь обростем клыками и шерстью! На четвереньки встанем!

Антон, давно уже с беспокойством поглядывавший на нас, прислушиваясь к спору, решил шуткой спустить весь разговор на тормоза.

— Признайся, что у тебя с ненавистью и впрямь плоховато обстоят дела. Тренировки нет . . . Не умеешь . . . Обмен веществ не тот . . .

— Почему это? Вот двоих наших современников я остро ненавижу. К счастью, обоих уже нет в живых.

— Кто же второй? — улыбаясь, осведомился Симорин.

— Как кто? Гитлер, конечно!

Но Гейс не шел на шутки, был по-прежнему мрачен. Теперь он обратился к Антону.

— А если без зубоскальства, всерьез? Одобряешь педагогическую деятельность своей жены?

— По-моему, единственное, что надо делать с этими комендантами, это их учить. Ведь темнота несусветная! И мы не знаем, что раскроется в их душах, когда хоть немного света туда проникнет . . .

Потом Антон помолчал немного и совсем тихо добавил:

— Вообще, мне думается, что лечить и учить надо всех . . .

. . . Гости разошлись. Первый час ночи, а я еще не проверила тетради. Зажигаю настольную лампу и раскрываю тетрадь старшего лейтенанта Насреддинова. Сочинение «Образ Ниловны в романе Горького «Мать». «В молодой годы Ниловна, как и все девчата, любила прогулок и гулянок» . . . Замаялся, бедняга, с этим родительным падежом . . . Нет, я слишком взволнована разговором. Откладываю тетради на утро и ложусь. Антон и Тоня ровно дышат. А мне все еще тревожно и знобко, хотя я чувствую, что права я, не Гейс.

Глава семнадцатая

ПЕРЕД РАССРЕТОМ

Наверно, так было в первые месяцы революции. Тогдашние взрослые, скорее всего, так же жили в постоянном детском ожидании чудес или ужасов. И ожидания их не обманывали. Невиданное и неслыханное приходило, поражало на минуту и тут же превращалось в повседневность. И снова жизнь, всклокоченная, но все равно беспощадная, тащила людей дальше. Несла их, как бумажки в бурном потоке. Знай себе барахтайся сколько хочешь!

Год пятьдесят четвертый уравнивал в этом барахтанье вчерашних антиподов. Теперь наши хозяева разворачивали газеты с той же тревогой, как и мы, так же, как мы, прислушивались не только к сообщениям по радио, но и к различным слухам, возникавшим то и дело. У них были свои слухи. О сокращении штатов. О реорганизации учреждений. О сокращении колымских льгот и больших денежных надбавок.

Нервозность начальства ощущалась на каждом шагу. Те, кто поумнее, осознавали, что новое время — новые песни. Они стали подчеркнута вежливы и предупредительны с нами, иногда даже позволяли себе еретические шутки. Но многие из них — те, кто был безысходно, величаво глуп — продолжали цепляться за привычное, механическое, злобное. Например, бухгалтер горону упорно рассчитывал мои заработки исходя из самой низкой учительской ставки.

— На ссыльных льготы не распространяются, — буркал он, не поднимая на меня глаз.

— Так это льготы Крайнего Севера. Но почему я не получаю того, что полагается по образованию и по стажу?

— Ссылные во всех правах ограничены, — отрезал он, произнося слово «ссылные» с такой интонацией, точно оно означало «зачумленные» или «омерзительные».

Портреты генералиссимуса висели еще везде незыблемо, в обрамлении траурных лент. Докладчики еще неизменно «закруглялись» речитативом «Под водительством партии Ленина — Сталина». Но новь настойчиво прорастала то там, то здесь, как бы ей ни противились. Уже прошел знаменитый пленум по сельскому хозяйству. Уже проявлял себя Никита Хрущев. Пробивались слухи о готовящемся процессе Абакумова.

Возродились некоторые старые материковские связи. Писательница Лидия Сейфуллина прислала Гале Воронской письмо, предлагая помочь в хлопотах о посмертной реабилитации «дорогого Александра Константиновича». Бывший секретарь ЦК комсомола Александр Мильчаков получил уже несколько писем от уцелевших на воле старых друзей, упорно молчавших все эти годы.

Пятого марта, в первую годовщину, появились траурные статьи. В них еще была сакраментальная формула — «Ровно год назад перестало биться сердце того, кто . . .» и так далее. Но общая сдержанность тона бросалась в глаза всем. Тем более, что через три дня, намаявшись от тревог, магаданские вольняшки особенно весело отпраздновали восьмое марта — Женский день.

— Помнишь, как в прошлом году бабенки убивались, что теперь, мол, навсегда будет отравлен Женский день? — спрашивала я Антона. — Боялись, что тень великой смерти сделает всякое веселье восьмого марта неприличным . . .

— Проходит, проходит земная слава, — весело вздыхал Антон.

Мои сановные ученики поздравляли меня с Восьмым марта очень торжественно, и мне показалось, что в их клишированных речах появился оттенок доброго отношения ко мне персонально. По почте пришло индивидуальное поздравление от лейтенанта Насреддинова, от того самого, знатока Маяковского. Он желал мне множества всяких благ, а особенно «скорейшей РЕБЕЛИТАЦИИ».

А на другой день он подошел ко мне в коридоре школы и смущенно сказал:

— Опять ошибка делал. Теперь знаю — не «ребелитация», а «реабилитация».

— И кто вас поправил?

— Сам заметил! Чуть не в каждой служебной бумаге это слово . . .

Да, удивительное, опьяняющее это слово действительно носилось теперь в нашем колымском воздухе, перепархивая из уст в уста.

Истории первых реабилитаций были похожи на английскую детскую повесть о маленькой принцессе Саре Крю, получившей после всех ужасов сиротского детства в наследство крупные алмазные россыпи. Так и тут. Если верить восторженным рассказчикам, то первые реабилитированные въезжали в те самые квартиры, из которых были когда-то уведены в подвалы МГБ. Они якобы получали самые высокие партийные посты и зарплату по преарестной ставке за все годы заключения. Правда, пока еще никто не знал фамилий подобных счастливицков. Но появление этих рассказов само по себе было знамением времени.

Весной пятьдесят четвертого отменили пропуска для въезда на Колыму. Это принесло мне нечаянную радость. Вася, перешедший уже на четвертый курс мединститута, вдруг приехал к нам с направлением в Магаданскую больницу на производственную практику. На все лето! Этот сюрприз сделал мне Антон. Он договорился в больнице, выслал Ваське денег на дорогу.

Самолет прибыл раньше, чем телеграмма из Хабаровска, и я встретила сына после новой четырехлетней разлуки запросто идущим по направлению к нашему барaku. Он шел (вроде и не уезжал!) с открытой — не по погоде — головой, размахивая небольшим пестрым рюкзаком. На нем был надет какой-то невысказанно яркий клетчатый пиджак.

Весь его вид и все поведение как бы подчеркивали, что Большая земля перестала быть для Колымы иным, зазвездным миром. Материк как-то необычайно приблизился. Вот просто взял билет, прихватил рюкзачок и, забыв фуражку, вскочил в самолет. Ведь теперь въезд на Колыму свободный. Как в самый обыкновенный район страны. Древней историей казалось теперь мое хождение по мукам ради Васиного приезда в конце соколовых годов.

Сутки пути — и вот он передо мной, мой мальчик! Я снова вижу его, могу говорить с ним, могу потрепать рукой его красивые волнистые светлые волосы. Но почему они такие длинные?

И тут вдруг вся сила моей любви выливается в странный возглас:

— Что за нелепый пиджак у тебя? И что за прическа?

А это были первые увиденные мной признаки «модерна»! Мне бы обрадоваться, что мой ребенок за эти годы вроде бы вышел из трагической обреченности сына репрессированной семьи, что просыпается в нем молодая жажда жизни, пусть хоть выраженная в попугайской расцветке пиджака. Но во мне сработали запрограммированные с детства комсомольско-квакерские рефлексы, и я сердито сказала:

— Иди в парикмахерскую, постригись покороче. Завтра я куплю тебе н о р м а л ь н ы й пиджак. А из этого переделаем летнее пальтишко для Тони.

— Через мой труп, — мрачно ответил Васька, — это самая модная расцветка.

Он не шутил. И я замолчала, догадавшись вдруг, что все это гораздо серьезней, чем кажется, что в нашем смешном диалоге происходит мое первое соприкосновение со второй половиной века, с новой молодежью, настолько разгневанной на поколение своих отцов, что хочет ни в чем не походить на них: ни в привычках, ни в манерах, ни даже в расцветке и фасоне пиджаков. А уж тем более — во взглядах на жизнь.

... Между тем события все развивались. Ни злоба, ни тупость, ни обскурантизм, ни инерция не могли остановить подспудного таяния заматерелых льдов. Толчок был силен, и мы все время ощущали это подземное кипение, а порой, не веря глазам своим, даже видели вырвавшиеся на свободу ручьи.

В августе 1954 года отменили ссылку на поселение. Конец комендатуры. Тревожное перешептывание среди моих учеников-офицеров, подпадающих под неслыханное сокращение штатов. А для нас — удлинение цепи, на которой мы бродили. Вместо семи километров вокруг Магадана, отводившихся нам ссыльным видом на жительство, мы получали теперь головокружительную возможность переплыть Охотское море, странствовать по Большой земле, правда не заезжая в города и веси, предусмотренные пунктом 39 положения о паспортах.

Надо отдать справедливость моему ученику — коменданту Горохову. Хотя ликвидация комендатуры и выбивала его из привычной налаженной жизненной колеи, сулила перемещения и хлопоты, но он, отвлекаясь от личных забот, выдавал нам справки для милиции с искренней доброжелательной улыбкой. А мы выскакивали из комендатуры и еще долго шумели на улице, как шальные воробьи, как школьники на большой перемене. Вперебивку спорили об этой злосчастной тридцать девятой статье, которую — мы уже знали — всем нам вписывают в паспорта. Одни

утверждали, что это только «минус столицы», другие уверяли, что также «минус все областные города». Но все сходились на том, что наплевать на минусы. Лишь бы можно было ездить, искать, самим решать, где жить и что делать. Все минусы таяли в наплыве этого вольного ветра.

Маленькие местные перемены тоже шли в русле этих больших новостей. Вдруг, например, распространился слух, что в редакции нашей магаданской газеты ликвидировано бюро по спецпроверке материалов, потому что теперь любой бывший зэка или ссыльный может печататься. Я решила тут же проверить это. За два вечера написала статью на вполне нейтральную тему. О засорении русского языка, о специфическом колымском диалекте. Привела несколько смешных примеров, рассказала о том, как учителя борются с этим на уроках. Подписала собственной фамилией.

В редакцию я отправилась почти с таким же замиранием сердца, как недавно шла первый раз в школу. Моя вторая профессия была не менее дорога мне, чем первая. Писать безумно хотелось. Голова кружилась при мысли о редакционных коридорах, о запахе типографской краски.

Газета называлась теперь уже не «Советская Колыма», а «Магаданская правда». Редакция располагалась на той же центральной площади, где все главные учреждения города. В отделе культуры сидел очень молодой парень в толстом свитере с бегущими оленями. В губах парня висела трубка, и по тому, как эффектно он ее покусывал, было видно, насколько он молод. Пробежав глазами статью, он обрадованно воскликнул:

— Свежая тема! И написано хорошо. Раньше писали?

— Раньше я писала и печаталась много. Но это было давно, в молодости. А с тридцать седьмого меня все время репрессировали. Вот только отменили вечную ссылку в пределах Колымы.

Трубка выпала из уст парнишки. За год с небольшим он еще не привык к таким явлениям. Светлые глаза наполнились младенческим ужасом. Точно буку ему показали. И он нечленораздельно забормотал в том смысле, что, собственно, он ведь не завотделом и даже не зам. Просто сотрудник. От него вообще-то ровно ничего не зависит.

Но я продолжала наступление.

— Я слышала, что сейчас отменены все ограничения на сотрудничество в газете бывших репрессированных. Ну что вы так изумляетесь? Обстановка-то ведь изменилась. Вот разрешили же мне преподавать в школе. Будьте добры, покажите статью кому-нибудь ответственному. Ну хоть замредактора. Я подожду.

Он обрадовался возможности выскочить из комнаты. О сенсационном случае он, видимо, сейчас же всем рассказал, потому что стала то и дело взвизгивать дверь, стали появляться разные люди, которые, кося на меня любопытные взоры, все чего-то искали среди бумаг, разложенных на столе. Потом меня пригласили к замредактору. Он встал из-за стола и протянул мне руку! Вот до чего изменились времена! Что бы он запел, если бы я явилась к нему год назад! А сейчас начал лепетать, что слышал о моей интересной работе в школе взрослых. Вопрос о статье будет решен в ближайшие дни. Сейчас он запишет мой адрес. Меня известят по почте.

Но извещения я не получила. Получила номер газеты с напечатанной за моей полной подписью статьей.

Опять переполох среди наших. Какие только прогнозы не строятся! НАС печатают! Какой еще может быть более выразительный знак того, что нас возвращают в мир живых! Расспросы, восторги, счастливый смех . . . Нагнетание того упоительного чувства благих перемен, постоянного ожидания чудес, того, можно сказать, электричества, которое брыз-

жет теперь яркими искрами вокруг нас. Вот-вот откроются ворота всех зон, вот-вот все самолеты и все корабли бухты Нагаево выстроятся вереницей в ожидании невероятных пассажиров.

Правда, этого-то ослепительного ВДРУГ как раз и не было. Клубок разматывался в обратную сторону с осторожной медлительностью, часто путаясь в петлях и узелках. Но все-таки разматывался.

... Первым нашумевшим в Магадане реабилитированным стал Александр Иванович Мильчаков, бывший секретарь ЦК комсомола. В этом проявилась как бы законная очередность. Потому что никто не был так твердо уверен в наступлении этого момента, как Саша Мильчаков. На протяжении всех долгих лет он существовал на Колыме так, точно ему вот-вот, сию минуту предстоит вылететь на материк, принять свой старый пост, встретить Марусю и детей. О Марусе он тоже говорил в таком тоне, точно она на минутку выбежала в магазин и сейчас вернется. . . Женщины для него не существовали, и никаких колымских романов он не заводил. Ждал Марусю. Это было трогательно. Но с другой стороны, многих настораживала в нем какая-то подчеркнутая замкнутость, какое-то сознание своей врожденной предназначенности для руководящих должностей. Например, относясь хорошо к Антону, который постоянно лечил его, он все-таки каждый раз шутливо подчеркивал, что доктор — «беспартийный товарищ».

Я навсегда запомнила день отлета Мильчакова в Москву, по вызову, для реабилитации. Нечаянно я стала свидетелем его последних шагов по земле колымской. Потому что тем же самолетом вылетал, после двухмесячного пребывания у нас, мой Вася.

Меня поразило, что Мильчакова никто не провожал. Он стоял на обочине посадочного поля, весь подобранный, поджавшийся, как для прыжка, устремив сощуренные глаза в невидимую для нас далекую точку. Это был настоящий отрезанный ломоть. Вместе с арестантским бушлатом он сбросил с себя всякое родство с нами, всякую память о пайке с довеском, о скотской тесноте нар, о бирках, привязанных к рукам умерших. . . Это уже не был тот Саша Мильчаков, который приходил к нам обмениваться новостями, прогнозами, пожаловаться Антону на непорядки с пищеварением, посмеяться над анекдотами. Это был человек, аккуратно связавший разорванную нить своей жизни. Тугим узелком затянул он кончики, соединил тридцать седьмой с пятьдесят четвертым и забросил подальше все, что лежало посередине. Сейчас он ехал, чтобы снова занять соответствующий номенклатурный пост, чтобы снова начать подъем по лестнице Иакова, с которой его ненароком столкнули. По ошибке столкнули, приняли за кого-то другого, совсем иной породы. . .

Александр Иванович вежливо со мной простился. Даже выразил уверенность в том, что скоро и мы полетим по этой же трассе. Но слова были настоящие. Он даже не давал себе труда притворяться, что его может интересовать что-нибудь остающееся здесь.

Антон сначала этому не поверил, сказал, что я мастерица «сочинять подтексты». Но тремя годами позднее, уже в пятьдесят седьмом, в Москве, ему вспомнился мой рассказ об отлете Мильчакова, и он — в который уж раз — признал, что я не лишена душевного слуха.

(А было в пятьдесят седьмом так: «Позвони-ка Саше Мильчакову, — сказал Антон, — вот обрадуется, что мы уже в Москве!»)

Я позвонила. «Саша! — восклицала я возбужденно. — Саша, мы уже в Москве! Да ты что, не узнаешь, что ли? Это Женя! Женя и Антон!»

Я ждала радостных путаных междометий, предложений немедленно встретиться. . . И вдруг услышала скрипучий каренинский голос, мерно осведомлявшийся о моем здоровье, о здоровье ДОКТОРА. . . Я расте-

рвалась до того, что сунула трубку Антону. «Говори с ним сам!» Антон в течение нескольких минут выслушивал этот малознакомый голос с покровительственными барскими интонациями, и лицо его все больше каменело. Потом он сказал «желаю успехов» и положил трубку. И добавил: «Нет, это ты, оказывается, очень правильно почувствовала тогда, на магаданском аэродроме.»)

Да, именно в тот день, последний день Мильчакова на Колыме, произошло первое мое столкновение с этой поразительной готовностью все забыть, все выполоть с корнем и вернуться на исходные позиции. Без всякой переоценки ценностей в свете полученного жестокого опыта, без всякого сожаления о тех, с кем еще вчера роднили одинаковые раны. Сколько их, разновидностей этой породы, довелось встретить потом, уже на Большой земле!

Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен СТРАХОМ, кто не в силах победить свою нервную память. (Рецидивы страха — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги — я и сама порой еще испытываю при ночных звонках у дверей, при повороте ключа с наружной стороны.)

Но как понять тех, кто ради карьеры, ради ярмарки тщеславия хочет все забыть, заглушить в себе все, что открылось ему страданием, продолжить как ни в чем не бывало свой дотюремный путь, свою славную автобиографию с массовыми казнями хороших знакомых. И все это в погоне за фантомами, за побрякушками, за дьявольской ерундой. А ведь так мало нам всем осталось жить! И в тот момент, когда я пишу это, уже нет и нашего колымского друга Саши Мильчакова.

Нет, не осуществилась его мечта, пронесенная сквозь восемнадцать лет мучений. Не призвали его после реабилитации к кормилу власти. Так же железно, как и к другим реабилитированным, была выдержана и по отношению к нему партийная у с т а н о в к а. Законный отдых? — Да. Персональная пенсия? — Пожалуйста! Жилплощадь? — Получите! Печатание мемуаров о славном революционном прошлом? — Ну, что же, печатайтесь . . . Но не больше. Для ведения практических дел сегодняшнего дня есть уже новая номенклатура. Выпестованная, пока вы сидели на Колыме, на Печоре, в Соловках. Не отягощенная слишком обильным знанием истории.

И Александру Ивановичу Мильчакову, сгоравшему от желания действовать, руководить, направлять, размять застоявшиеся руки, ноги, мозги, была предоставлена — увы! — единственная возможность: делиться на страницах журнала «Юность» воспоминаниями о первых годах комсомола, о славных его руководителях, бойцах и мучениках революции. Но даже и в этих «Житиях святых» Саша не мог рассказать всего, что пережили его первые соратники, руководители комсомола революционных лет. Как раз мученическая кончина этих героев, расстрелянных в тридцать седьмом году, и была запретной темой. И если в начале шестидесятых еще можно было написать «Стал жертвой нарушений революционной законности», то к середине десятилетия уже приходилось обрывать на оптимистической ноте, оставляя в глубоком мраке вопрос о том, как же эти несравненные герои и рыцари Революции ушли из жизни.

Может быть, именно от крушения надежд и погиб сравнительно рано Саша Мильчаков. Умер, оплаканный преданной семьей, редколлегией журнала «Юность» и нами, своими друзьями тяжелых дней, забывшими обиду, забывшими, что он хотел напрочь отмежеваться от нас, чтобы не компрометировать себя «опасными связями». Помним Сашу Мильчакова магаданского, а не московского.

. . . Но так или иначе — оттепель продолжалась. 1954/55 учебный год дал мне возможность, отказавшись от офицерского класса, получить два обычных класса в вечерней школе взрослых. Теперь моими учениками стали летчики, рабочие авторемонтного завода. Среди них было несколько бывших заключенных, принятых, по нынешним либеральным временам, на доучивание. Мне теперь поручались доклады в Институте усовершенствования учителей, а на моих уроках побывали САМ завгородо Трубоченко и — еще самоее! — завоблоно Железков. Они предложили мне дать несколько открытых уроков для учителей, желающих «перенять опыт».

После этих посещений на нас вдруг свалилась манна небесная — меня пригласили в горжилотдел «для переговоров об улучшении квартирных условий».

Двухэтажный деревянный дом на улице Коммуны — два шага от школы — оказался нам версальским дворцом. Нам дали двадцатиметровую комнату в квартире, где кроме нас жили всего только две семьи. И это после нагаевского барака, где мы были тридцатые! В квартире была хорошая кухня, ванная комната, теплая уборная. Не веря глазам своим, мы с Антоном откручивали краны в ванной, недоверчиво дотрагивались до кафельных плиток на кухонной печке. Шум спускаемой в уборной воды мы воспринимали как сигналы из потустороннего мира, потому что чего-чего, а уж благоустроенной уборной мы за последние два десятилетия категорически не встречали.

Окончательно неправдоподобным чудом-юдом явился возникший на нашем столе телефонный аппарат. Его водрузили после того, как Антон стал обслуживать в больнице отдельную палату для начальства. Я до сих пор помню номер этого первого телефона моей второй жизни, начавшейся пятого марта пятьдесят третьего года. Двадцать два — семьдесят один. Автоматической станции в Магадане тогда еще не было, и вместо бездушных гудков слышался мелодичный голосок, сговорчиво отвечавший «Даю» . . . Мы с Антоном первые дни играли в этот телефон. По несколько раз в день звонили друг другу с работы домой и вели, зачлбываясь смехом, глупейшие, но милые нам диалоги. «Это совхоз Эльген?» «Нет, что вы» . . . «Прииск Бурхала?» «Отнюдь нет» «Может быть, это дом Васькова?» «Гражданин, это частная квартира. Здесь живет один популярный у населения доктор, он же шарлатан-гомеопат . . .» «Да? А я думал, что это квартира выдающегося специалиста по обучению комендантов изящной словесности . . .»

Так мы забавлялись. Но в то же время мы вполне серьезно наслаждались своей новой квартирой. Остро, чувственно, можно сказать плотоядно смаковали наконец-то обретенное освобождение от Страха. Смело и спокойно запирали дверь на ночь и засыпали, не ожидая ночных звонков и стуков. Частная квартира . . . Одним словом, мой дом — моя крепость.

К Новому году я получила одну за другой две обнадеживающие бумаги из Москвы. В одной сообщалось, что мое заявление о реабилитации, адресованное Ворошилову, переслано в Прокуратуру СССР, в другом — что из прокуратуры оно ушло в Верховный суд. Понимающие люди утверждали, что это — замечательный признак. Волновало то, что Антон все еще не получал никакого ответа. К празднику Тоня положила ему на ночной столик открытку с картинкой, в которой желала ему «здоровья, счастья и получить скорее чистый паспорт». В свои тогдашние восемь лет она уже отлично понимала, что значит для человека «чистый паспорт».

И вот весна пятьдесят пятого. Мои сослуживцы по школе взрослых оживленно толкуют в учительской о каникулах. Высчитывают, сколько им

причитается за долгий колымский отпуск, спорят о сравнительных преимуществах Крыма и Кавказа, показывают друг другу купленные в дорожном обновки.

Давно ли я умела усилием воли отключаться от той горечи, которую ощущала, присутствуя при подобных разговорах! Теперь больше не могу. Теперь эти прибои житейских волн отдаются у меня в голове гулким шумом.

И вот наступает наконец тот немислимый момент, когда директорша школы задает мне мимоходом совсем простой вопрос:

— А вы чего же не подаете заявление насчет отпуска на материк?

— Я? На материк?

— А почему бы и нет? — скучным голосом говорит директорша. — С отделом кадров согласовано. Ссылка у вас снята. Можете ехать.

Директорша добрая женщина. Во всяком случае вкуса к злу у нее нет. Только вот похожа она очерком лица и фигуры на крупного зеркального карпа. Да и вялой флегматичной душой тоже. Она таращится на меня с глубоким удивлением, когда я обнимаю ее за плечи и шепотом читаю ей из Пушкина: «Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать?»

Двенадцать ночи. Я иду из школы домой. Теперь не страшно, живу рядом со школой. А воздух с бухты доносится и сюда. И звезды те же, что и там у нас, в Нагаеве. Ощущение праздника не оставляет меня. Какие-то давние чувства, запахи весенней земли, обрывки стихотворных строк, какая-то радостная слитость со всем сущим . . . Как будто бы Пасха . . . И мне как будто четырнадцать лет . . .

Пройдут еще годы и годы, и однажды я вспомню это свое настроение тогдашней весенней «оттепельной» ночи с чувством глубокого стыда. Это произойдет в самом начале семидесятых годов, когда мне в руки попадет книга Артура Лондона «Признание». И из этой потрясающей книги я узнаю, что вот в эту самую благословенную для меня ночь, когда мне казалось, что пришел конец нашим мукам, — именно НАШИМ, а не только моим, — рядом, в Чехословакии, полным ходом шло разбирательство «дела Сланского». И в эти именно числа, когда телячий восторг от предвкушения возврата в жизнь лишил меня разума, умения читать газеты, сопоставлять факты, делать выводы и прогнозы, — в эти именно дни, когда я почти поверила в наступление Золотого века, людей продолжали утонченно терзать, унижать, заставляли разыгрывать по сценариям позорные «судебные заседания» . . . Людей продолжали ВЕШАТЬ ни за что, без всякой вины . . . И пепел их развеивать по ветру . . . И эта ночь, наполненная для меня иллюзией близкой полной свободы, была для многих, таких же, как я, хотя бы для тех же чехов, налита до краев все тем же давнишним отчаянием.

Но тогда я ничего этого не знала. «Оттепель» лишила меня способности предвидеть хоть что-нибудь. Почти бессознательно нелепая идея компенсации, которую судьба должна же дать мне за испытанные муки, овладела мной, застилая взор. Я должна еще быть счастлива. Я еще не стара. Я успею многое сделать, прочесть, написать.

. . . Долго не вхожу в дом. Стою у крыльца и смотрю на звездное колымское небо, холодное, но все-таки весеннее. Я ни о чем не думаю, только прислушиваюсь к чьему-то страстному и нежному голосу, звучащему внутри. Кажется, это голос Блока. «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное — очеловечить, несбывшееся — воплотить . . .»

А сегодня мне хочется просить у Артура Лондона и его товарищей прощения за ту мою счастливую ночь пятьдесят пятого года. И за то, что я на-

звала эту главу «Перед рассветом». Но менять заголовка не буду, чтобы не отклоняться от правды тогдашнего моего восприятия событий.

Глава восемнадцатая

ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Я сижу в мягком кресле самолета Ил-14, а подо мной клубятся облака, висящие над Охотским морем. Это не сон. Это фантастическая явь середины пятидесятих годов. Меня, привезенную сюда в утробе трюма «Джурмы», везут обратно на Большую землю со всеми удобствами, и бортпроводница говорит мне: «Дама, пристегните вашу девочку ремнями! . . .» Дама! Это я-то?

Девятилетней Тоне куда легче освоиться с необычностью обстановки, чем мне. У нее нет прошлого. Она вся — воплощение будущего, и ее распирает любопытство. Засыпает меня вопросами, на которые я отвечаю механически.

Острое ощущение полета, терпкая радость движения мутится для меня воспоминанием о глазах Антона, оставшегося на взлетной площадке. Антон еще не реабилитирован, поэтому он отказался ехать, вернее, даже возбуждать ходатайство о поездке на материк. Но я ведь тоже еще не реабилитирована. Другое дело . . . «Тебе сами предложили ехать». Он никак не может отделаться от ощущения безнадёжной дискриминированности своей по национальному признаку.

Догадываюсь, что он решил отправить меня в первый раз без себя еще и для того, чтобы я без всякого давления смогла решить вопрос о дальнейшей нашей личной жизни. Ведь мы знаем теперь точно, что Павел — мой первый муж — жив.

Мы с Тоней уже сидели на своих местах, когда в наш самолет, готовый к старту, вошел летчик Баранов, мой ученик из школы взрослых, и сказал, чтобы я подошла на минутку к двери. Антон Яковлич хочет еще что-то сказать мне, забытое, видно, когда попрощались. Я подошла к двери, а Антон быстро поднялся по еще не убранному трапу.

— Поступай, как тебе подскажет совесть . . . Но помни, помни . . .

Тут его заторопили, пора убирать трап.

Совесть уже давно подсказала мне. Вернусь. Хотя я уже знаю, что еду за реабилитацией (получено несколько бумаг, приближающих меня к ней), но решение твердо: не уеду с Колымы, пока Антон к ней привязан. Обязательно вернемся через полгода, после отпуска. Но пока . . . Пока я лечу на Большую землю, и вся моя душа не просто раскрыта, а настезь распахнута навстречу ватным облакам, перламутровым струям воздуха, шальным искрам, рвущимся из-под самолетного крыла. Навстречу тому полубабытому, желанному, виденному в далеких снах, к тому, что называется ЖИЗНЬ.

Я все больше невпопад отвечаю Тоне на бесчисленные вопросы, которыми она продолжает засыпать меня. Сосед, сидящий впереди, обращивается и откровенно фыркает, услышав мои объяснения насчет техники движения самолета. Но мне ничуть не обидно. Хохочу вместе с ним и доверительно объясняю ему, что по физике у меня никогда не было больше тройки.

— А самолет не может упасть в море? — опасливо осведомляется Тоня.

— Нет. Не может.

Мой ответ звучит уверенно и категорично. Потому что я дала его не только для успокоения ребенка. Это мое глубокое убеждение. Не может

он упасть. Потому что погибнуть в авиационной катастрофе после того, как ты уцелела в Ярославке и на Эльгене, на Известковой и в доме Васькова — это было бы немислимо. Это означало бы, что мир стихий и бесмыслен. А я именно в середине пятидесятих годов была так глубоко убеждена в разумности мира, в высшем смысле вещей, в том, что Бог правду видит, хоть и не скоро скажет.

(Это было двадцать лет назад. И как же я остыла сердцем за эти годы!)

Целых семь часов летел степенный самолет пятьдесят пятого года над Охотским морем. Порой я начинала дремать, обволакиваемая льющей из окон белизной. Но всякий раз будила сама себя возмущенной мыслью: как я смею спать, когда я лечу . . . Страшно вымолвить! В Москву! Все равно, что на Марс. И я с удивлением рассматриваю сидящего сзади знакомого мне человека, тоже бывшего заключенного, впервые после восемнадцати лет летящего на материк. Он спит со всех ног бесчувственным стопроцентным сном, и его приплюснутое, скомканное лицо дышит глубоким физическим удовлетворением.

Вспоминаю, что его зовут Федор Решетников и что он дважды «доходил» и дважды выкарабкивался. Его терпеливые кости заново обрастали плотью. Но эта плоть, выращенная на благодеяниях лагерного оздоровительного пункта, была именно тем складчатым, желтоватым, студенистым тестом, из которого вылеплено это лицо, похожее на муляж. Вспоминаю, что и садился он в самолет без всякого радостного волнения, без улыбки, с безразличным тусклым взглядом.

И я отдаю себе снова отчет в том, что я не просто счастливица, а счастливица стократная. Потому что я вывожу сейчас на этом Иле не только относительно целые руки и ноги, глаза и уши, но и целехонькую душу, не потерявшую способности любить и презирать, негодовать и восторгаться. Меня переполняет чувство благодарности. Господи! Это не сон. Ты вывел меня с Колымы . . .

Дар благодарности — редчайший дар. И я не исключение. Все мы неистово взываем «помоги!», когда гибнем, но очень редко вспоминаем об источнике своего спасения, когда опасность отступила. На своем крестном пути я видела десятки, даже сотни наученнейших марксистов, как говорится, «в доску отчаянных» ортодоксов, которые в страшные моменты жизни обращали свои искаженные мукой лица к Тому, чье существование они так авторитетно отвергали в своих многолетних лекциях и докладах. Но те, кому довелось спастись, благодарили за это не Бога, а в лучшем случае Никиту Хрущева. Или совсем никого не благодарили. Такова наша натура.

Именно поэтому я и запомнила как редкостный миг озарения этот свой первый полет над Охотским морем, когда душа моя действительно благословляла в поле каждую былинку и в небе каждую звезду. Даже когда я начинала дремать, укачиваемая воздушными ямами, то и тут, среди сгущавшейся темноты, у последней заставы сознания, меня не оставляло это нездешнее чувство. Больше оно у меня никогда не повторялось. Тонуло в суете.

. . . Хабаровск. Посадка. Суеверно ступаю по выщербленному асфальту. Это первое мое прикосновение к материковской земле.

— Мамочка! Смотри, сколько соловьев! — восклицает Тоня, в восхищении застывая перед стайкой воробьев, вперевивку щебечущих над назойливой кучкой.

— Эх ты, отродьце колымское! Воробья не видала, — подает реплику, проходя мимо нас, краснорожий мужик, явно из племени полублатных колымских конкистадоров. Потом он случайно оказывается нашим соседом во время завтрака в ресторане. Он вызывающе швыряет на

стол новенькие нарядные сотенные и требует, чтобы официантка принесла ему всю программу разом. Привязался к Тоне, без конца просвещает ее.

— А это чего? Не знаешь? Маслина называется. Видишь, вроде сливы . . . Да ты и сливы-то поди не видала?

Ну, конечно, мы не видали сливы. Тоня — никогда в жизни, а я видала, да забыла. Но мы с Тоней как заговорщики. Только выразительными взглядами перебрасываемся. Она уже поняла, что вслух удивляться, дремучьсть свою показывать не надо. А взгляд у нее зоркий, за все цепляется. Судок для горчицы и перца. Чей-то чемодан на длинной элегантной молнии. Сплошные чудеса.

. . . Под Иркутском вдруг резко ухудшилась погода. Сначала снежная белизна облаков испестрилась темными бликами, стала похожа на горностаевый мех. Потом за окнами началась какая-то мокрая вьюга, и нас отчаянно заболтало. В уютных креслах обеспокоенно задвигались люди. Молодая толстуха с рыжей челкой до самых бровей стала громко убиваться, что вот, мол, она, дура, польстилась на эту путевку в Сочи. А ведь в Южно-Сахалинске у нее есть муж и комната. Восемнадцать с лишним метров. Только бывший зэка Федор Решетников все так же настойчиво спал. Стопроцентно спал, точно наверстывая за все лагерные ночные смены.

Битых полчаса наш пилот маневрирует, чтобы посадить свою птицу. И вот наконец желанный толчок. Земля! Общий облегченный вздох. Сразу все повеселели, начали шутить, приглаживать волосы, оправлять платье, вспомнили, что давно пора обедать. И все дружно рассмеялись, когда очнувшийся наконец от своего летаргического сна Федор Решетников мрачно буркнул:

— Рожденный ползать летать не может . . .

— И не полетим теперь скоро-то, — откликнулась наша стюардесса, — погода нелетная. Припухайте в Иркутске в полное свое удовольствие.

Иркутская гостиница Аэрофлота потрясла нас с Тоней еще больше, чем хабаровский ресторан. В таких апартаментов обитали, вероятно, только граф Фридерик и графиня Эльвира из блатных «романов». Многопудовые бархатные портьеры цвета бордо свисали на золотых кольцах прямо на лакированные фосфоресцирующие полы. Хрустальные люстры нежно позвякивали бомбошками. В глубочайшем мягком кресле склонилась над бумагами разнаряженная администраторша. И над всем этим великолепием сияло напечатанное типографским способом лаконичное объявление «Мест нет». Однако после долгих объяснений, просьб и молений человеколюбивая администрация сжалилась над нами, и все население нескольких застрявших самолетов было размещено вповалку прямо на полу нижнего коридора, направо от вестибюля.

К ночи гуманизм местного начальства дошел до того, что нам выдали несколько старых тюфяков, так что дети теперь были удожены хоть и на полу, но с комфортом. Взрослым предстояло провести ночь на табуретках все в том же коридоре, под репродуктором, из которого никак не вылетали желанные слова «Объявляется посадка».

И тут вдруг одна из пассажирок, импульсивная коротышка лет сорока, принесла сенсационное известие. Оказывается, свободных номеров в гостинице сколько угодно.

— Для китайцев . . . Нам не дают, мы черная кость. У нас вроде денежки не те. Целый этаж пустует, а мы тут валяемся. Берегут . . . А для кого?

— То есть как это для кого? — возмутилась администраторша. — Здесь трасса Москва — Пекин, понятно вам? Номера бронированы для китайских товарищей.

— Откуда они свалятся, китайские-то товарищи? Чай, со всех концов погода нелетная, Иркутск не принимает. А к утру, если развиднеется, мы и сами улетим.

Но администраторша продолжала тупо твердить:

— Свои законы тут не устанавливайте! Линия международная . . .

Поднялся бунт. Появился директор гостиницы, очень нежный бледный человек, весь из тонких удлинённых линий. Голос его вызывал воспоминание о переслащенной яблочной пастиле. Призывая пассажиров к спокойствию, он пожелал взглянуть на документы. Администраторша кивнула ему на наши паспорта, кучкой лежавшие на ее столе. Он быстро перелистал их, рассортировал на три стопки и стал вызывать по фамилиям, называя номера комнат.

Привычный комплекс немедленно сработал: я решила, что нам с Тоней или совсем не дадут номера или уж самый завалыщенький. И вдруг нам достается номер семнадцатый на втором этаже. Сначала я подумала, что это недоразумение. Никак не тянул мой паспорт с «минусами» и тридцать девятым пунктом на такое экспортное великолепие. Неужели это мне говорит «плиз» эта накрахмаленная горничная? И нам же предназначены эти непомерно большие зеркала, атласные одеяла и монументальный шкаф? Все загадки разъяснились появлением директора гостиницы.

— Удобно будет? — осведомился он, как бы отвешивая нам еще полкило пастилы. — Мы весь исторический этап понимаем. Вчера репрессированные, завтра — начальство. У нас вот у самих, по нашему как раз ведомству, один новый товарищ в руководство назначен. Из тех самых, что с тридцать седьмого в бушлатике ходили. Это надо понимать . . . Все ведь по диалектике развивается . . . Пожелаю приятных снов!

Так мы с Тоней, благодаря утонченному диалектическому мышлению директора иркутской гостиницы (впрочем, не оправдавшему себя в дальнейшем, по крайней мере по части предвидений большой карьеры для реабилитированных), выпалились, как богдыханши, под пекинскими атласными одеялами, на кроватях с ножками в виде львиных голов.

А наутро — солнце. И снова мы летим над Сибирью, потом над Уралом. Посадки в Новосибирске, в Свердловске. Именно начиная со Свердловска я ощущаю возвращение на материк. С каждым получасом все осязаемей становится приближение к Москве. Деревья, луга, птицы, цвет неба — все становится похожим на то давнишнее, родное, что столько лет было нереальным в своей невзвратности. Я с такой гордостью сообщаю Тоне всё новые названия деревьев, точно я их тут посадила, точно я ввожу ее во владение наследственным имением.

Маленькая колымчанка пускается в спор насчет берез.

— У нас в «Северном Артеке» были березы. Они не такие . . .

— Те были карликовые . . .

Но в целом Тоня ориентируется во всей этой нови быстрее меня. Потому что она не отвлекается во власть ассоциаций, смещающих последовательность времен. А меня застаёт врасплох даже остановка Казань. Я не сразу отдаю себе отчет в том, что вот я и прибыла на место, откуда все началось. Точно на собственную могилу приехала . . .

Вздрагиваю от звонкого дискантового девичьего голоса. Вернее, не от самого голоса, а от выраженного татарского акцента.

— Аэропорт Казань. Все здоровы, товарищи?

Эта румяная девушка с котиковыми бровями и медицинской сумкой через плечо снова сбивает меня со счета времени. Возникает обманное чувство: неужели и впрямь прошло восемнадцать лет с тех пор, как я обучала ее говорить по-русски? Как вода, как вода пролилось оно между пальцами, мое время, самые расцветные годы жизни, истраченные на невыносимо однообразные страдания . . .

Не допускать, не допускать этой разъедающей горечи . . . Ведь я возвращаюсь . . . Ведь впереди еще большой кусок жизни. И он будет плодотворным . . .

— Смотри, Тоня, какой замечательный аэропорт в Казани . . .

Меня огорчает, что Тоня не восхищается этим новым зданием. Она не видела прежней кособокой лачуги, которая стояла здесь в тридцатых годах, и она равнодушно заявляет, что аэропорт точно такой же, как в Свердловске.

Еще два часа дремотной качающейся самолетной жизни. И наконец . . . Вот оно, свершилось! Толчок о землю. Толчок где-то внутри самого моего существа. Вот он, мой Марс, моя недостижимая звезда! Вот та земля, очертания которой совсем было уж стерлись для меня, для всех нас . . .

— Москва!

Это голос нашей бортпроводницы. Она инструктирует нас насчет порядка высадки, сообщает, какие виды городского транспорта нам лучше всего использовать.

Я почти ничего не понимаю. Я решила, что мы выйдем из самолета последними, хоть Тоня и дергает меня изо всех сил и тянет за руку к выходу. Ей не терпится. А я выигрываю минуты, чтобы справиться с приливами крови к вискам. Механически, с ощущением фантастичности всего происходящего продельвая все, что надо: несущемодан, жду автобуса, отвечаю на вопросы Тони.

Этот день нескончаем. Я, привыкшая тянуться этапами, выстаивать у лагерных ворот и в комендатурных очередях, никак не могу изжить этих суток, начавшихся в Свердловске и продолжающихся сейчас в Москве, на Таганке. Почему именно на Таганке? Да потому, что я не решилась обратиться ни к кому из старых знакомых с просьбой о пристанище. Мне еще казалось немислимым навьючить на чьи-то плечи такую ношу — пришельца из страшных снов с котомкой за плечами. И я взяла записку у магаданского знакомого-вольняшки к таганской хозяйке, промышленной специально сдачей комнат и углов приезжим вольным колымчанам-толстосумам.

Квартира оказалась пахнущим сыростью полуподвалом, снабженным, впрочем, телевизором и холодильником. Гладкая и ласковая, как толстый кот, жадная до денег хозяйка в обмен на наши хрустящие новенькие сотенные билеты отвела нам неопрятную двуспальную кровать с лоскутными одеялом и бесформенно растекающимися жидкими подушками. И мы поскорее улеглись еще засветло, чтобы как-то закончить этот день, в который столько вместилось.

Сон обволакивает мгновенно, но тут меня будит тоненький захлебывающийся счастьем взвизг:

— Мама, смотри, у бабушки свое маленькое кино!

Я открываю глаза, и мы с Тоней, два колымских дикаря, одновременно видим впервые в жизни телевизионную передачу.

Утром ласковая квартирная хозяйка «Стояла колымчанина» предлагает нам кофе и сама усаживается с нами за стол. Уже неделю она без квартирентов, намолчалась, рвется к общению, точнее — к монологу. Собеседник для нее лицо подставное, несущественное, ей важно, как говорят французы, «вытряхнуть свой мешок». В жизни она не выезжала с Таганки,

но магаданские проблемы освоила со всей дотошностью. Знает, кому какие надбавки и где выгоднее работать — в северном или западном управлении. Слушаю ее вполуха, отделяваясь пустыми репликами. Но тут вдруг она пылливо щурит свои мохнатые, в колких ресничках, еще не погасшие глаза и задает мне колдовской вопрос:

— А вы не забыли, как на Кировскую-то проехать?

Кировская, 41 — адрес Прокуратуры СССР, куда я первым делом должна направиться насчет реабилитации. Но откуда эта толстуха, походя на гладкого кота, знает это? Ни слова об этом не было сказано ни в моих разговорах с ней, ни в записке, по которой я ее разыскала.

— На Букашке поезжайте. До Красных ворот. При вас-то ходила туда Букашка? Не упомню уж . . .

— Ходила. А вы откуда все знаете?

— Не маленькая! По чемодану, по одежке вижу. Да и по лицу. Девчонку-то оставьте на меня. Присмотрю. И недорого возьму за это.

Но Тоне кажется, что «пуркуратура» (так она произносит) это какое-то из московских чудес, вроде телевизора. Она упирается, плачет, настаивает. И я сдаюсь, беру ее с собой.

В пути я пытаюсь рассматривать в окно трамвая Москву, уловить, в чем она изменилась за восемнадцать лет. Но это мне не удастся. Потому что в оконном стекле я вижу свое отражение, всматриваюсь в него и все стараюсь понять, в чем же дело, почему первая же москвичка, хозяйка квартиры, сразу опознала во мне вчерашнюю каторжанку. Отрываясь от стекла, я озиралась вокруг довольно затравленным взором, потому что в каждом пассажире трамвая мне виделся знатный человек, отмеченный гербом московской прописки, недоступной мне.

В мрачном здании серо-гранитного цвета двери открываются туго, несмотря на то, что в них ежеминутно входят. С усилием тяну массивную ручку. Тоня юрко прошмыгивает вперед и тянет меня за собой. Оглядываюсь вокруг себя и останавливаюсь, потрясенная. Что же это? Я — от Колымы, а она — за мной? Вестибюль битком набит нашими. Теми самыми, которых я узнаю из тысяч, у кого изработанные, набрякшие узлами руки, расшатанные цинготные зубы, а в глазах — то самое выражение всеведения и предельной усталости, что не передается словами. Оно — это выражение — не смывается даже радостным возбуждением, которым охвачены здесь люди.

Говорят одновременно почти все. Говорят нескончаемо, хотя и приглушенными голосами, хотя и с привычной оглядкой на спящих среди толпы военных с бумагами в руках. Все повествуют о своих странствиях, все инструктируют друг друга, в каком порядке ходить по кабинетам, столам и окошечкам этого серо-гранитного дома. Вестибюль прокуратуры по улице Кирова, 41, гудит, как . . . Нет, не как улей! Как транзитка! Как владивостокская транзитка. Прикрываю на секунду глаза. Меня шатает и мутит от острого воспоминания, от того, что опять смещается грань времен.

— Мама! А почему в «пуркуратуре» все седые? — громко спрашивает Тоня, и вокруг нас всплескиваются дружелюбные смешки.

Еще минуты, и вот уже кто-то окликает меня по имени, потом еще и еще. А вот уже и я сама узнаю многих в лицо. Кругом родственники . . . Сестры по Бутыркам и братья по морскому этапу. Эльгенские дочки . . . И даже отцы и матери, потому что здесь много семидесятилетних. Тогда, в пятьдесят пятом, они еще не все вымерли. Их белоснежные головы, вкрапленные в толпу клиентов серо-гранитного дома, и создают впечатление, что в «пуркуратуре все седые».

Наши . . . То самое подземное царство, тот самый Аид, в котором я жила почти два десятилетия. Как страшны их лица в неподкупном свете московского солнечного летнего дня! Но до чего же они родные мне и как быстро от их присутствия испаряется и тает ощущение своей отчужденности, которое не оставляет меня с момента приезда в столицу. Со всех сторон тянутся ко мне дружеские руки. Вот уже Тоня передана на попечение Анастасии Федоровны, моей соседки по Бутырской пере-сылке. И вот уже к нужному окошечку провожает меня Иван Синицын, лежавший у нас с Антоном в Тасканской больнице заключенных. Тогда он у нас числился смертником, а вот поди же ты, дожил до Кировской, 41, и сейчас ему уже за пятьдесят.

По дороге Иван предупреждает меня, чтобы я подготовилась к волоките.

— Главное, помните: реабилитируют обязательно! В конце концов . . . И не впадайте в отчаяние, когда начнут говорить: «Зайдите на днях» . . . Без этого нельзя же. Надо и им посочувствовать, ведь в каких бумажных морях они плавают! И в каком море лжи!

Но мне невероятно повезло. Всего несколько минут я стояла у окошечка, после того как назвала вежливому военному свою фамилию.

— Все в порядке, — с любезной сдержанностью сказал он, наклоняясь над картотекой. — Ваш приговор опротестован прокурором. Теперь вы должны ходить не к нам, а в Верховный суд. Улица Воровского. Там и получите окончательное решение по делу.

С часу дня в прокуратуре перерыв на обед, и мы с Иваном, с Анастасией Федоровной и еще двумя знакомыми стариками, отбывшими «всю катушку», отправляемся в кафе «Ландыш», знакомое еще по аспирантским годам. Остро вспоминается вкус пельменей, съеденных в этом кафе лет двадцать с лишним назад.

Занимаем отдельный столик. И никак не можем перестать говорить. Нам кажется, что мы говорим шепотом, но, видимо, мы уже не управляем своими голосами. Замечаю, что за соседним столом нас слушают и прислушиваются. Молодежь. Два парня и девушка. Наверное, студенты. Интеллигентная молодежь. Как давно я не видала, не слыхала ее! А ведь какая кровная связь! С новой остротой всплывает горечь: как мы поруганы, как оклеветаны в их глазах! Сколько десятилетий понадобится, чтобы из их сознания вытравилось наконец недоверие к вчерашним «шпионам, диверсантам, террористам»?

Однако мы их уж очень заинтересовали. Совсем прекратили свою беседу и жадно прислушиваются к нашей. Наконец один из юношей решительно встает, подходит к нам и, очень волнуясь, спрашивает:

— Вы оттуда, да? Из ссылки? Простите, это не пустое любопытство.

— Да, — спокойно отвечает Николай Степаныч Мордвинов, один из наших стариков, бывший геолог, бывший узник Верхнеуральского полит-изолятора, бывший лагерник Ухты, бывший красивый мужчина. — Да, мы из тех мест. Весьма отдаленных. Жертвы тридцать седьмого года.

Молодые так потрясены этой встречей, что некоторое время просто молчат, глядя на нас как на призраков. Потом девушка восклицает: «Одну минуточку!», и стремглав бросается к дверям. Через несколько минут она возвращается с двумя пучками гладиолусов, обернутых в целлофан. Протягивает цветы Анастасии Федоровне и мне. Замечаю, что глаза девушки полны слез и очки одного из парней тоже поблескивают. И все мы молчим. Потом старик Мордвинов откашливается и хрипловато произносит:

— Повторяю — мы жертвы. Жертвы, а не герои . . .

— Но у вас хватило мужества все перенести, — возражает студент в очках.

— Стало быть, цветы нам за то, что мы двужильные, — грубовато шутит Анастасия Федоровна.

Эта встреча и разговор с незнакомыми молодыми людьми запомнились мне на долгие годы. Первое свидетельство того, что не все, далеко не все поверили великой лжи, что во многих душах, особенно молодых, потаенно жило сочувствие к невинно замученным.

А дня через три — еще одно красноречивое доказательство того, как прав был Евтушенко, когда писал в прекрасных своих юношеских стихах: «Умирают в России страхи . . .» Они умирали на глазах. А, выходит, именно ими, страхами, держалась наша отверженность. Страхами, а вовсе не доверием к той клевете, которая окружала нас почти два десятилетия.

Еще через несколько дней я получила новое убедительное подтверждение того, что далеко не все оставшиеся на воле принимали на веру рассказы про «шпионов, диверсантов, террористов». Однажды рано утром в наш таганский подвал явилась нежданно-негаданно моя давнишняя комсомольская подруга Тоня Иванова. Каким чудом она разведала, что я в Москве, на Таганке, трудно сказать. «Сердце подсказало», — отшучивалась она.

— И как ты могла заехать в такой подвалище? Точно у тебя друзей нет в Москве! Собирайся!

Через час мы были в уютной двухкомнатной квартире на улице Чакова, где уже ждал меня брат Тони — Петя Иванов, известный в тридцатых годах журналист, мой друг юности, мой, так называемый, «партийный крестный», рекомендовавший меня когда-то в партию. Великим удовольствием для меня было выслушать историю о том, как ему удалось в тридцать седьмом (он работал тогда в «Правде») спастись от ареста. Проявил оперативность! Взял и в одну прекрасную ночь уехал из Москвы: в неизвестном направлении, бросил семью, работу, квартиру. А потом «затерялся в родных просторах» и обнаружился в Москве только ко времени «частичного отлива» после снятия Ежова. Вся Петина терминология, все его шутки и словечки не оставляли ни малейшего сомнения в том, что он отлично разобрался, что к чему. И это было великой радостью для меня — открыть единомышленников среди московских вольняшек, благополучников. Только теперь я, привыкшая к сверхортодоксальности колымских вольных, начинала отдавать себе отчет в том, как относительно было благополучие интеллигенции, ускользнувшей от раскинутой большой сети, поняла, что и их, спавших все эти годы в своих собственных чистых мягких постелях, терзали по ночам те же великие страхи, что и нас, грешных.

А к вечеру появилась моя лучшая подруга былых лет, о которой я ничего не слышала за все эти годы. Ксения Крылова! Ее появление протянуло еще одну слабую ниточку между моей первой жизнью и последними восемнадцатью годами. Восстанавливалась связь времен. О нашей встрече с Ксенией очень забавно рассказывала потом моя Тоня (маленькая).

— Они только смотрели друг на друга и плакали. И по очереди говорили по одному слову каждая. Тетя говорила: «Женька!», а мама говорила: «Ксенька!» И опять плакали . . .

. . . Переход с улицы Кирова на улицу Воровского означал для каждого из нас следующий шаг на пути к реабилитации. И казалось бы, настроение должно было становиться лучше. Но вопреки логике, обстановка в здании Верховного суда на улице Воровского была куда более нервной, чем в прокуратуре на Кировской. Там еще всеми владел подъем духа, свя-

занный с возвращением в Москву, со взрывом надежд, с фантастическими планами новой жизни. А сюда, на улицу Воровского, приходили уже измотанные очередями, окошечками, в которые надо было униЗИтельно просовывать голову, чтобы увидеть ровный пробор офицера, склонившегося над бумагами, услышать (в который уж раз!), как он голоСом пифии изрекает: «Еще не опротестовано!», или даже: «Ваше дело за Верховным судом!»

И те, кто уже добрался до улицы Воровского, были порядком раздражены всем этим.

— Как быстро они оформили мне в тридцать седьмом десять лет срока! Без всякой бюрократической волокиты! А сейчас . . . Извольте полюбоваться на этих жрецов Фемиды! Сколько бумаг им требуется для того, чтобы доказать, что я не агент Мадагаскара и не организовывал в городе Пензе разведывательной сети в пользу Цейлона!

Старик, произносивший эту густо наперченную тираду, казалось, был мне знаком. Где-то я его определенно встречала, но где? Лишь когда он произнес, махнув рукой: «А дурак ожидает ответа . . .» — я вспомнила. Этого человека я видела однажды в Магадане, тогда приходила в общезнание для бывших ээка, работавших в больнице. Тогда он был подчеркнуто осторожен, молчалив, старался не участвовать в крамольных разговорах, а на все риторические вопросы «за что?», «почему?», «зачем?» — произносил единственную, вот эту самую фразу: «А дурак ожидает ответа» . . .

Куда же девалась теперь его осторожная замкнутость? Почему он так осмелел сейчас, когда до желанной свободы оставались уже считанные дни? Оказывается, это было типично. Простояв несколько дней в очередях на улице Воровского, я сделала наблюдение: именно сейчас, когда так недолго оставалось потерпеть, у людей вдруг начисто иссякло терпение. Раздраженное обращение с офицерами, дерзкие реплики слышались все чаще и чаще. Запомнилась, например, высокая женщина, истощенная в той степени, когда неопределим становится возраст. Дождавшись, когда один из офицеров подошел к ней вплотную, она очень громко сказала, показывая на поясной портрет Сталина, все еще украшавший приемную Верховного суда.

— А этого зачем тут повесили? Или для того, чтобы люди не забыли, кто все это натворил?

Офицер промолчал. Вообще на улице Воровского офицеры были еще безразнее, чем в прокуратуре. У них у всех точно уши были заткнуты ватой. Проталкиваясь через наши очереди, они произносили механическими машинными голосами «разрешите!», отвечая на вопросы, адресованные непосредственно им, называли в ответ номер комнаты или окошко, куда надлежит обратиться. Этим исчерпывался их лексикон.

В общем весь дух этого учреждения в те дни как наиболее выразительно воплощал собой неопределенность, переходность и выжидательность переживаемого страной момента. Можно было легко себе представить, что эти вежливые немногословные офицеры в один прекрасный день вдруг начнут стучать кулаками по столам и изрыгать то непотребное, что изрыгали их старшие коллеги в тридцать седьмом. Но так же легко можно было вообразить и обратное: что в один воистину прекрасный день они разговаряются и начнут убедительно доказывать, что лично они никакого отношения к преступлениям тридцать седьмого года не имели, они еще были тогда невинными детьми. И что они возмущены тогдашними беззакониями.

. . . Я протолклась в этом здании больше десяти дней, а получив предложение «зайти как-нибудь на той неделе», решила съездить на эту неде-

лю в Ленинград, чтобы повидать сестру, побывать на могиле мамы и оставить Тоню, замученную толканьем в очередях, у сестры на даче.

Когда я рассказала об этом решении старику из Воркуты, с которым я сдружилась в этих нескончаемых выстаиваниях у окошечек, он великодушно предложил одновременно с выяснением собственных дел ежедневно наводить справки и о продвижении моих. И при необходимости дать мне в Ленинград телеграмму.

Сестра оказалась незнакомкой. При горячей родственной любви ко мне, при полной готовности прийти решительно во всем мне на помощь, она в то же время обнаруживала такое органическое равнодушие ко всему, что жгло и испепеляло меня, что было для меня, для всех НАС самым главным в нашем остатке жизни. И я скоро совершенно бросила попытки заинтересовать ее этим. Она рассеянно выслушивала меня, явно думая о своем, и завершала все мои рассказы неизменной репликой: «Ах, какой ужас! Лучше не вспоминать об этом!» После чего снова переходила к своему, к бытовому, служебному, повседневному. Это поражало меня тем более, что ее первый муж, Шура Королев, выпускник Института красной профессуры, отец ее единственного сына, был расстрелян в тридцать восьмом году, и я ждала ее рассказов о нашем мире, о том мире, где он погиб. Но факт оставался фактом: наше общение все больше стало ограничиваться воспоминаниями о родительской семье, о старых знакомых. При всем том она была необыкновенно добра, великодушна, охотно взяла на себя все заботы о Тоне, которую я оставляла пока у нее.

И вот наконец . . .

— Вам телеграмма!

Я сразу, по гулко забившемуся сердцу догадалась, о чем сообщает этот благовестный голос из коридора сестриной коммунальной квартиры.

«Срочно выезжайте за справкой о реабилитации» . . . Милый воркутинский старик, полужнакомый товарищ по несчастью, честно выполнил свое обещание.

. . . И вот настал этот день. Сколько раз за нескончаемые годы я мечтала о нем, пыталась представить себе конкретные обстоятельства этого момента, этой минуты полного освобождения, окончательного ухода из-под гнетущей десницы, давящей и раздавливающей меня! Об этом мечталось то так, то этак, но неизменно мечты были связаны с представлением о каком-то катаклизме, о шквале, который сметет уродливые античеловеческие установления, о ком-то Благородном, кто откроет перед нами двери тюрем и лагерей, а мы — мы ХЛЫНЕМ на свободу, на вольный ветер.

Меньше всего я могла себе представить, что эту страстно вымечтанную свободу мы будем получать из рук все того же (выражаясь по-нынешнему) «истеблишмента», будем стоять за этой свободой в огромных очередях, захлебываясь в потоке казенных бумаг, лениво составляемых все теми же бюрократами, в лучшем случае равнодушными, в худшем — еле скрывающими свое недовольство этими непредвиденными эксцентричными реформами.

И, однако, все это было именно так. Был знойный летний день. В очереди к полковнику, выдававшему справки о реабилитации, сидело, стояло, переминалось на отекавших ногах свыше двухсот человек. Голова у меня кружилась от сперттого воздуха и нетерпения. Минутами я забывала разницу между этой эпохальной бумагой и сине-лиловым штампом магаданской комендатуры, продлевавшим мне жизнь на две недели. Старалась подбадривать себя мыслями о свободе, но чувство горечи не оставляло меня. Да разве свобода ТАК приходит?

Уже ближе к вечеру мне удалось наконец протиснуться в ближайшую к двери десятку. Входим все десятеро сразу. Усталым жестом полковник предлагает нам рассесться на скамейке вдоль стены и вызывает к себе по фамилиям. Этот пожилой человек — хозяин справок о реабилитации — умаялся не меньше нас. Ему очень жарко. Мы-то в легких тряпках, а он при полном мундире, застегнутом на все пуговицы. Пот струится по его лысеющему лбу, и он то и дело прерывает работу, чтобы вытереть лоб носовым платком. Фамилию он переспрашивает трижды, как глухой.

— Вот, — протягивает он мне бумажку, — прочтите внимательно. Обратите внимание: при утере не возобновляется.

Кроме справки, которую я не успеваю прочесть, он дает мне листок из бланкета с записанным на нем телефонным номером.

— А это что?

— Телефон комиссии партконтроля. Сюда будете звонить по вопросу о восстановлении в партии.

— Что-о?

Я так потрясена этим неожиданным поворотом дела, на лице моем такая растерянность, что полковник несколько оживляется и вглядывается в меня, как в живого человека.

— Вы разве не хотите партийной реабилитации?

— Я... Я...

Я просто не верю своим ушам. Мне, вчерашней парии, предлагают вернуться в ряды правящей партии. Меня охватывает смутение.

— А как будете анкеты заполнять при оформлении на работу? — совсем уже по-свойски говорит полковник.

— А если... Беспартийная!

— А вы не беспартийная. Вы — исключенная из партии. И следующий вопрос в анкете будет: состояли ли в партии, когда и каким образом были? И вы должны будете написать ту формулировку, которая у вас в деле: исключена за контрреволюционную троцкистскую террористическую деятельность... Так что звоните по этому номеру!

Каждого выходящего из полковничьего кабинета сразу окружает толпа ожидающих в вестибюле. Они буквально вырывают из рук только что полученную справку, сравнивают формулировки, делятся различными глубокомысленными выкладками о том, какая реабилитация ПОЛНАЯ, какая — в чем-то ограниченная. Сразу находятся крючкотворы не хуже самих авторов справок. Они уверяют, что существует большая разница между формулировками «за отсутствием состава преступления» и «за недоказанностью обвинения»...

Моя справка — первый сорт. «За отсутствием состава преступления». Знаатоки поздравляют меня. Находятся, правда, и скептики, разглядывающие бумагу на свет, ищущие в ней каких-то тайных водяных знаков, условных номеров и серий... А я как-то не очень вслушиваюсь во все это, а больше всего боюсь, не смяли бы они мою бумажку, не изорвали бы, сохрани Бог! Ведь при утере не возобновляется.

Но вот от полковника выходят новые люди, внимание отвлекается от меня, и мой драгоценный документ возвращается в мои руки. Теперь я бреду в полном изнеможении по улице Воровского (ах, да ведь она Поварская, Поварская... Только что сообразила, что это она!) Вообще с тех пор, как я оставила Тоню в Ленинграде, я как-то отпустила вожжи, стала легко расслабляться, реже обедать, позволяла себе долго и бесцельно бродить по улицам. Делаю над собой усилие. Надо подтянуться. Надо сейчас же ехать к Тоне Ивановой. Они там все волнуются, ждут меня со справкой. Сейчас я предьявлю им ее.

Где же она, кстати? Меня вдруг обливает ледяным ужасом. Останавливаюсь посреди Арбатской площади, открываю сумочку и начинаю судорожно рыться в ней. Нету справки! Перебираю квитанции прошлогодней давности (проклятая манера совать все бумажки в сумку, а вытряхивать ее раз в году!) . . . Нету справки. Я погибла . . . И снова, стоя посреди площади, под стук бешено колотящегося сердца, перебираю бумажки, скопившиеся в сумочке. Что же это такое?

Меня выводит из этого состояния отчаянный скрежет автомобильных тормозов и дикая брань, которой осыпает меня водитель грузовика. Захваченная поисками справки, я не заметила, что чуть не погибла под колесами этой тяжелой грязноватой колесницы, которые в середине пятидесятых годов еще ходили по старой Арбатской площади.

— Так и так и так! — орал вне себя шофер. — Деревенщина чертова! Машка с трудовыми! Наедут в город, а ходить-то не умеют! И от самой бы только мокренько осталось, и меня бы в тюрьму засадила! Чтoб тебе! . . .

Но даже и более сильные его выражения, которые я опускаю, я принимаю с полной кротостью и со счастливой улыбкой. Во-первых, он прав: я бессовестно нарушила все правила движения пешеходов, я даже мельком не взглядывала на светофоры. А во-вторых . . . Во-вторых, какое все это может иметь значение, когда нашлась, НАШЛАСЬ моя справка! Оказывается, я положила ее не в сумочку, а туда, куда за восемнадцать лет привыкла прятать все самое для меня ценное, — на грудь, за лифчик . . .

Я еще и еще раз осыпываю себя, слышу божественный хруст моей драгоценной бумаги за лифчиком и бормочу извинения вслед уехавшему шоферу грузовика. Совсем обессиленная добираюсь до фонтана, стоящего перед входом в арбатское метро, и падаю на скамейку рядом со стариками, отдыхающими, опираясь на старорежимные трости, с мамами детей, играющих у фонтана в мячик. Вынимаю свою справку и впервые с полным вниманием начинаю перечитывать ее. Ага! Вон в чем дело! Здесь сказано: «По вновь открывшимся обстоятельствам» . . . Какие же, интересно, обстоятельства вновь раскрылись перед моими неподкупными судьями? Может быть, они нашли подлинного преступника-террориста и выяснили, что не я, а именно он убил . . . Но кто убит-то? Ведь при миллионах террористов НИКТО, абсолютно никто не был убит . . . Киров только . . . Но имя его убийцы мы все в лагерях знали твердо. Так . . . Почитаем дальше . . . «Дело прекратить за отсутствием состава преступления». В сознании всплывает излюбленная фраза, которой утешали и умиряли нас наиболее «гуманные» тюремщики. «Разберутся! Если не виноваты, разберутся и выпустят». И вот разобрались. И двадцати лет не прошло, как сам Верховный суд авторитетно заявляет: нет состава преступления!

Никак не соберусь с силами — встать со скамейки и войти в метро. Вдур ко мне подходят двое провинциалов — он и она — с тяжелыми чемоданами в руках и рюкзаками за плечами.

— Не подскажите, девушка, как нам добраться до Казанского вокзала?

Эта вроде бы ничего не значащая мелочь вдруг приводит меня в хорошее настроение. Во-первых, они назвали меня девушкой. Значит, к исходу пятого десятка я еще не выгляжу старухой. Во-вторых, они спросили меня, как добраться до Казанского вокзала. Не до Мылги, не до Эльгена, не до дома Васькова и даже не до Лефортова, а просто до Казанского вокзала. И я со всем старанием и подробностями объясняю им, где пересаживаться и переходить.

Вспоминаю, что когда я рылась в сумочке, разыскивая свою пропавшую грамоту, то видела там на дне обломок шоколадки. С аппетитом съедаю

его и решительно встаю со скамейки. Оглядываюсь вокруг. Откормленные московские голуби, тогда еще очень модные, упоенно переговариваются друг с другом. Девочка в красном платье деловито скачет через веревочку. В двери метро непрерывно вливаются люди. Сейчас и я присоединюсь к ним. Вольюсь в общий поток. Возможно ли? Я такая же, как все!

«За отсутствием состава преступления . . .»

ЭПИЛОГ

В сущности, эта книга жила со мной больше тридцати лет. Сначала как замысел, потом как постоянное писание вариантов, перечеркивание целых больших кусков текста, поиски более точных слов, более зрелых размышлений.

Особенно это относится к той части книги, которая не угодила в опубликованный на Западе в 1967 году томик. Ведь жизнь продолжается, маршрут мой хоть и утратил за последние два десятилетия свою исключительную крутизну, но все же остается достаточно гористым. Да и возраст подошел предельный. Тот самый, когда сознание исчерпанности всего личного, беспощадная ясность по поводу отсутствия для тебя завтрашнего дня дарует тебе неоценимые преимущества: объективность оценок, а главное — постепенное раскрепощение от того великого Страха, который сопутствовал моему поколению в течение всей его сознательной жизни.

И вот когда в свете этих закатных дней перечитаешь все еще лежащую в твоём столе неопубликованную часть книги, возникает непреодолимая потребность снова что-то переделывать. (Не в смысле фактов, понятно, а в смысле их подбора, освещения, а главное — суждений о них.) С одной стороны, это радует, как признак того, что душа еще не окостенела, еще способна к дальнейшему развитию, к пониманию новых явлений жизни. Но с другой стороны, эти бесконечные переделки (печальная участь всех рукописей, залежавшихся в столах!) в чем-то и портят работу, может быть меняют к худшему ее интонацию.

Поэтому я и решила больше ничего не переделывать. Даже в отношении стилистической правки. Пусть останется все так, как сказалось, потому что даже погрешности стиля отражают то особое состояние души, в котором все это писалось.

Меня часто спрашивают читатели: как вы могли удержать в памяти такую массу имен, фактов, названий местностей, стихов?

Очень просто: потому что именно это — запомнить, чтобы потом написать! — было основной целью моей жизни в течение всех восьмидесяти лет. Сбор материала для этой книги начался с того самого момента, когда я впервые переступила порог подвала в Казанской внутренней тюрьме НКВД. У меня не было за все годы возможности записать что-нибудь, сделать как-нибудь заготовки для будущей книги. Все, что написано, написано только по памяти. Единственными ориентирами в лабиринтах прошлого являлись при работе над книгой мои стикеры, сочиненные тоже без бумаги и карандаша, но благодаря тренированности моей памяти именно на поэзию, четко отпечатавшиеся в мозгу. Я полностью отдаю себе отчет в «самодельном», кустарном характере моих тюремных и лагерных стихов. Но они заменили мне в какой-то мере отсутствующую блокноты. И в этом их оправданье.

Последовательно писать главу за главой я начала еще в 1959 году, в Закарпатье, где мы жили на даче. Я сидела под большим ореховым де-

ревом на пеньке и писала карандашом, держа школьную тетрадь на коленях. Первые главы я еще успела прочесть Антону. Он был уже неизлечимо болен. И я впервые похолодела, осознав близость его смерти, когда он заплакал, прослушав мою главу «Бу-ырские ночи».

После его смерти — 27 декабря 1959 года — я писала порывами. То забрасывала на долгие месяцы, то иступленно работала чуть ли не целыми ночами. (Днем я в это время писала ради хлеба насущного расхожие статьи и очерки для периодической прессы, главным образом педагогической.)

К 1962 году я стала автором объемистой рукописи примерно в 400 машинописных страниц. Это было совсем не то, что сейчас знают многие читатели первой части «Крутого маршрута». Этот первый вариант, написанный в том состоянии просветленной горечи, которое возникает после утраты близких, был полон самого сокровенного, доверяемого только бумаге. Эпиграфом к тому варианту были блоковские строчки: «Двадцатый век. Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла . . .» Тогда еще не участвовал в моей работе внутренний редактор, поскольку мысль о публикации вроде бы и не возникала. Просто писала, потому что не могла не писать.

Но тут подоспел двадцать второй съезд партии, ожививший во мне самые несбыточные надежды. Затрепанная папка, которая была до тех пор тайным моим собеседником, моим конфидентом, вдруг приобрела в моих собственных глазах новое значение. Мне показалось, что вот оно, настало наконец то желанное, чаемое время, когда я могу высказаться вслух, когда мои правдивые свидетельства поддержат тех, кто искренно хочет, чтобы наш национальный позор и ужас не повторились.

Я еще и еще раз перечитала свой первый вариант, битком набитый стихами и эмоциями, и поняла, что это еще не книга, а только материалы к ней. И я принялась за работу заново, беспощадно вымарывая целые страницы, которые еще вчера были мне бесконечно дороги. Я перечеркнула блоковский эпиграф, который обязывал к непосильному для меня общеполитическому раскрытию темы, и взяла новый, из стихотворения Евтушенко, перемещавший центр тяжести в область конкретной борьбы с наследием Сталина.

А когда наступил конец моих многолетним квартирным мытарствам и я получила кооперативную однокомнатную квартиру, я сожгла старую папку, которую столько лет прятала и перепрятывала в коммунальных условиях. Иногда мне делается жаль, что я уничтожила ее, жаль той раскованности и абсолютной исповедальности, которые могли бы привлечь читательские сердца. Но в то же время я знаю, что в том первом варианте была масса лишнего, недостаточно продуманного, рыхлого по композиции.

Теперь я работала регулярно по многу часов, не ленясь сидеть за машинкой после утомительного редакционного дня. Теперь мне светила вполне определенная цель — предложить эту рукопись толстому журналу. Может быть, «Юности», где я уже печатала свои очерки? Или — чем черт не шутит! — даже «Новому миру», где уже появился к тому времени «Иван Денисович»?

Увы, вместе с надеждами на публикацию народился в моей душе и внутренний редактор, зудивший меня на каждом абзаце своим обычным — «этого цензура не пропустит». И я начала искать более объективные формулировки, нередко портила удавшиеся места, утешая себя тем, что, мол, подумаешь, одна фраза — не такая уж большая жертва за право быть напечатанной, дойти наконец до людей.

Все это очень отразилось на первой и начале второй частей «Крутого маршрута».

Как только рукопись попала в редакции двух популярнейших толстых журналов, началось пятилетнее плавание ее по бурным волнам самиздата. Рукопись, с которой снимались десятки, а может, и сотни копий, с фантастической быстротой размножалась и переходила границы Москвы. Когда я начала получать читательские отзывы из Ленинграда и Красноярска, из Саратова и Одессы, я поняла, что совершенно утратила контроль за удивительной жизнью моей ненапечатанной книги.

Нечего и говорить о том, как утешительно было находить в письмах незнакомых людей отклик на то сокровенное, что годами вынашивалось молчком. Эти письма, особенно написанные молодыми, развеивали мой давнишний страх перед гипнотизирующей силой возведенных на нас фантастических обвинений. Теперь я видела, что молодежь снимает шапку перед памятью моих погибших в застенках товарищей и благодарит меня за те кусочки правды, которые дошли до нее через мою книгу.

А вскоре пошли письма от писателей. И не только письма, но и авторские экземпляры книг с трогательными автографами. Я получила письма и книги от Эренбурга, Паустовского, Каверина, Чуковского, Солженицына, Евтушенко, Вознесенского, Вигдоровой, Пановой, Бруштейн и многих, многих других. Передавали мне и хорошие устные отзывы ученых, например академика Тамма. Пришел со мной знакомиться молодой историк Рой Медведев, чей отец погиб у нас на Колыме. Другая группа историков подарила мне свою книгу (сборник) с надписью: «Опередившей историков в понимании исторических событий».

Мне было абсолютно ясно, что всем этим я обязана отнюдь не каким-либо особым литературным качествам книги, а только ее правдивости. Изголодавшиеся по простому нелукавому слову, люди были благодарны всякому, кто взял на себя труд рассказать «де профундис» о том, как все это было НА САМОМ ДЕЛЕ.

Хочу еще раз заверить своих читателей, что я писала только правду. В тексте этой книги возможны, конечно, неточности, ошибки, вызванные смещениями памяти во времени. Но лжи, конъюнктурных ухищрений, сознательных замалчиваний здесь нет. В моем сегодняшнем возрасте, когда смотришь на жизнь уже как бы из некоторого отдаления, нет смысла хитрить. Итак, я написала правду. Не ВСЮ правду (ВСЯ, наверно, была и мне неизвестна), но ТОЛЬКО ПРАВДУ.

Да, чтобы написать ВСЮ правду, у меня не хватило ни информированности, ни умения, ни глубины понимания. Хватило меня только на то, чтобы не подчинять свое изложение софизмам, жонглирующим понятием «целесообразность», чтобы не подчинять свою мысль спекулятивным концепциям «данного момента». Я исходила из той простейшей мысли, что правда не нуждается в оправдании целесообразностью. Она просто ПРАВДА. И пусть целесообразность опирается на нее, а не наоборот.

Чем дальше я писала, тем больше укреплялась в этом взгляде. Пожалуй, с этой точки зрения оказался положительным тот факт, что я потеряла всякую надежду на публикацию книги у себя на родине. И если в первой части, во вступлении к ней, еще видна рука внутреннего редактора, то в дальнейшем тексте уже никакие посторонние соображения не отягощали меня.

Между тем, пока я работала над окончанием книги, первая часть распространялась самиздатом во все возрастающей геометрической прогрессии. Один ленинградский профессор — специалист по истории русской бесцензурной печати — сказал мне, что, по его мнению, по впечат-

лению его наметанного глаза, моя книга побила рекорд по самиздатовскому тиражу не только нашего времени, но и девятнадцатого века.

Были, однако, и люди, которым моя книга не понравилась. К моему большому огорчению, одним из них оказался Твардовский. В то время как в отделе прозы «Нового мира» к моей работе отнеслись с сочувствием и пониманием, главный редактор почему-то подошел к ней с явным предубеждением. Мне передавали, что он говорил: «Она заметила, что не все в порядке, только тогда, когда стали сажать коммунистов. А когда истребляли русское крестьянство, она считала это вполне естественным».

Тяжкое и несправедливое обвинение. Конечно, мое понимание событий до тридцати седьмого года было крайне ограниченным, о чем я и пишу со всей искренностью. Но услышав такой отзыв Твардовского о моей работе, я подумала, что вряд ли он прочел ее, а не просто бегло перелистал. Иначе он не мог бы не заметить, что вопрос о личной ответственности каждого из нас — основная моя боль, основное страдание. Об этом я пишу подробно в главе, озаглавленной «Меа кульпа» (Моя вина). Но Твардовский не заметил даже этого заголовка.

В редакции «Юности», где меня много обнадеживали, рукопись тоже залежалась. А время между тем работало против меня. Все яснее становилось, что на эту тему наложено табу. И, наконец, в один прекрасный день редактор Полевой в разговоре со мной воскликнул: «Неужели вы серьезно надеялись, что мы это напечатаем?» После чего «Юность» переслала мою рукопись на хранение в Институт Маркса — Энгельса — Ленина, где, как писалось в сопроводительной бумажке, «она может явиться материалом по истории партии».

Таким образом, к концу 1966 года все надежды на какую-то, кроме самиздатовской, жизнь книги были погребены. И то, что произошло дальше, было для меня не просто неожиданностью — фантастикой!

Непредугадываемо переплетаются разные пути в нашем удивительном веке. Вдруг я увидела свою книгу (по крайней мере, первую ее часть и кусок второй) напечатанной в Италии. Меня — долголетнюю обительницу ледяных каторжных нор с преобладающим звуком Ы в названиях местностей (МЫлга, ХатТЫнах и т. д.) — напечатали в сладкозвучном Милане. А потом и в Париже, и в Лондоне, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме и во многих других местах.

Мне довелось повидать некоторые из этих изданий, поддержать их в руках. Часть этих книг привез из заграничной поездки покойный Эренбург.

Это совсем новая тема, рожденная нашим странным временем и его феноменами. Тема о душевном состоянии автора подобных изданий. Противоречивые чувства раздирают его. С одной стороны, он не может сдержать естественного чувства радости при виде своей рукописи, превратившейся в книгу. Но с другой . . . Без моей правки, без всякого моего участия в издании . . . Без возможности исправить типографский брак (русское издание пестрит ошибками в орфографии и пунктуации) . . . Точно твоего погибавшего ребенка спасли какие-то чужестранцы, но при этом его полностью оторвали от тебя. А тем временем и земляки дают несчастной матери почувствовать: она виновна не только в том, что породила нежеланное для властей дитя, но и в том, что не смогла удержать его дома.

Так или иначе, книга вступила в новую фазу своего бытия: из догутенбергровой, самиздатовской, родной отечественной контрабанды она превратилась в нарядное детище разноязычных издательств, перекочевала в мир роскошной глянцевого бумаги, золотых обрезов, ярких суперобложек. Полное отчуждение произведения от его автора! Книга стала

чем-то вроде взрослой дочери, безоглядно пустившейся «по заграницам», начисто забыв о брошенной на родине старушке-матери.

Но что же будет с остальной, неопубликованной частью книги? Неужели ей суждено остаться не книгой, а тетрадкой? И на что тогда надеяться? На то, что «рукописи не горят»?

Как бы там ни случилось, а я считала своим долгом дописать все до конца. Главным образом не для того, чтобы изложить фактическую историю дальнейших лет в лагере и ссылке, а для того, чтобы читателю раскрылась внутренняя душевная эволюция героини, путь возвращения нанвной коммунистической идеалистки в человека, основательно вкушавшего от древа познания добра и зла, человека, к которому через все новые утраты и мучения приходили и новые озарения (пусть минутные!) в поисках правды. И этот внутренний «крутой маршрут» мне важнее донести до читателя, чем простую летопись страданий.

И все-таки . . . Все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей родине . . .



Айвар Пожарский.
Всевидающий



Март. Весна уже проклюнулась, но снег еще лежит, еще холодно, и сараюшка, где свален инструмент — топоры, пилы, багры и прочая снасть, — все еще притягательный центр в рабочей зоне. Здесь есть печурка, здесь можно «заварить» — сделать чифир или кофе, покурить не на ветру. Хозяйством этим распоряжается Гунар, учетчик нашей аварийной (грузчицкой) бригады, молодой, высокий, очень сильный латыш. И естественно, к нему со всей рабочей зоны собираются земляки. Все, как на подбор, рослые, сильные, спортивные. Все — кроме одного. Этот тоже высокого роста, но худ фантастически, карикатурно. Длинные, тонкие руки, сквозь продранные на колене рабочие брюки видна нога — трость, палка, обтянутая кожей, очень светлые глаза кажутся огромными от впалых, втянутых щек. Он смотрит на меня с интересом, но без той жадной готовности к общению, которая бурлит в большинстве лагерников (я — личность популярная, разрекламированная газетами заранее). День, другой, третий мы переглядываемся, вежливо наклоняем головы при встречах — соблюдаем политес. Наконец учетчик Гунар говорит: «Юлий, хотите познакомиться с нашим поэтом?» — «Разумеется». — «Эй, Кнут!»

Так я знакоюсь с Кнутом Скуениексом. Он отбывает семилетний срок за «особо опасные государственные преступления»: написал одно сомнительное стихотворение, держал дома «Британскую энциклопедию» и не донес на знакомых. Знакомые, кстати, тоже не сахар: они рассуждали о том, как бы так устроить, чтобы Латвия была на положении Польши или Румынии. Ну и получили, соответственно, большие сроки.

Само собой, у нас с ним оказалась тысяча общих знакомых и миллион общих интересов. Главный из них — стихи. Он здесь написал и перевел уйму стихов, усердно занимался языками, прочел бездну книг. Вообще он живой упрек мне — бездельнику и сибариту. Еще такой же упрек — Андрей Синявский, но он хоть не на глазах у меня, с ним меня начальство предусмотрительно развело по разным лагерям...

К моим поэтическим опытам Кнут относится снисходительно-поощрительно: «Ничего, Юлий, вы еще будете писать злее...» Наверяд ли. Сам-то он пишет отнюдь не зло, а с бесконечной грустью, с безнадежностью:

*Христос будет распят, убит — и воскреснет,
Сорвавшись в небо с гвоздей;
А Революция станет Реакцией,
Идея — контридеей...*

или:

Локомотив — грохочущий колосс¹...

¹ Эти стихотворения включены в нашу подборку.

Латыши-лагерники старшего поколения относились к Кнугу холодно. Им было непонятно, как можно не заниматься и не интересоваться политикой. Они это считали чуть ли не предательством. По-моему, предательством было бы, если бы он ушел от литературы в политику, если бы не появились его исследования по фольклору, если бы не зазвучали на латышском Лорка и Габриэлла Мистраль, А. Н. Островский и Гоголь, если бы он не перевел великую молдавскую поэму «Миорица»...

Недавно вышла первая и пока единственная тонкая книжечка его стихов, но стихи, вроде тех, что я цитировал, в нее, конечно, не вошли. Не вошли и не войдет маленькая поэма «Не оглядывайся», которую он написал в Мордовии и которую я там же перевел на русский.

Юлий ДАНИЭЛЬ

КНУТ СКУЕНИЕКС

ТВОЕ ОКНО

Перевел Юлий ДАНИЭЛЬ

* * *

Опять тепло. И тело — как спросонок.
Склоняясь, небо шепчется с тобой.
И сердцу лень считать свой мерный бой.
И ветер сник. И нежится котенок.

Спят комары. Полны песку деревья.
Строку к строке сама плетет рука,
И лень двинуться ладности изделья,
И боль обид от сердца далека.

С водой нагретой схожи струн света.
Покой желанный, жданный, — ты ли это?
Мне под вечер тревоги не избыть...

Но полночи умеют нас будить
И слабость гнать, творя покой поэта.
А это — так... Со всяким может быть.

ТУРИСТСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Там, где озеро смеется звездным шуткам,
Заяц замер в междусонье чутком,
Уж ползет развлечься, н в болотах
Ветер шлепает по ряске в синих ботах, —
Там.

«Лирика и голоса», 1978.

Перевод А. Матуля — «Даугава», 1988, № 6; перевод Ю. Даниэля — «Дружба народов», 1988, № 10.

Там, где след людской не лег на тропах,
Крик совы — ночной пароль и пропуск,
Пятачки полян, росой омытых, —
Как клочки Америк неоткрытых, —
Там.

Там, где ты себя от буден спрячешь,
В самом разъязыческом из капищ,
Станешь мудрой, трав наречье зная,
Ненасытной, как пчела лесная, —
Там,

И когда туда придешь ты и заполнит
До краев тебя безмолвие, — запомни:
Для одной мостил по топам гати,
Для одной чертил пути на карте —
Для тебя.

ТРИ ЗИМЫ

Три смерти брусками
Скребут о металл,
Три волка голодных
Бредут по пятам,
Враждою к теплу и движенью
Горя,
К артериям тянутся
Три упыря —

три зимы, три зимы, три зимы!

Три гада цедят
Святотатственный гной
И брызжут в лицо мне
Вонючей слюной,
И вяжут мне руки,
По дням волоча,
Безумных три призрака,
Три палача —

три зимы, три зимы, три зимы.

Три тощих свечи
Оплывают в чаду,
Три ночи тоскуют
В жару и в бреду,
Три поля,
Привыкшие семя губить . . .
. . . Три глыбы,
Которые мне раздробить,
Три выхода к свету —
Прорезать в стене,
Три восхода,
Которые вырастить мне, —

три зимы, три зимы, три зимы!

СТАТИСТИКА

Где говорит Статистика —
Музы молчат.
Ну что ж —
Истина?

Нет, не истина.
Недоразуменье, ложь.
К ней, беспристрастной, стоит прислушаться:
Статистика — Муза, она — не прислужница.
Такой-то процент передается дракам;
Такой-то — стоит перед властью раком;
Такой-то процент от цинги умирает;
Такой-то — сам себя презирает
И всю Вселенную заодно.

И даже количество пальцев дрожащих,
Сжатых сейчас в кулаки угрожающие,
Тоже Статистикой учтено.
Я — в этом проценте;
Я — с теми, которые
Ищут скупые жиры и белки;
Я с теми, кому позволяют калории —
Еще позволяют! —
Сжать кулаки.
Муза цифири, а ну-ка, зачисли-ка
В этот процент,
Заприходуй навек
Любого, кому приходилось туго:
Жену мою,
сына,
читателя,
друга —
Там, где всюду говорит Статистика, —
Там не молчит Человек.

* * *

Христос будет распят — и вновь воскреснет,
Сорвавшись в небо с гвоздей;
А Революция станет Реакцией,
Идея — контридеей.
Спокойней и выгодней время считать
От тех до этих дождей.

А если они радиоактивны?

* * *

Локомотив — грохочущий колосс,
Жизнь яростная, адова работа
Котла, прокладок, вентиляей, колес —
И полный ход! И полная свобода!

Определенная в одном направлении — по рельсам.

* * *

Черен кофе, черна земля,
Небо черным-черно.
Сегодня, вчера и позавчера
Черным обведено.
Светится, бьется за право жить
Только твое окно.

ПАМЯТИ ДРУГА



Светлую память и великую грусть оставил в сердцах своих друзей Юлий Даниэль, покинувший этот бренный мир. Все, кому довелось встречаться с ним, страдать в неволе, совместно работать или просто жить рядом, будут помнить этого дружелюбного, любознательного, жизнерадостного и вместе с тем стойкого, твердого, непреклонного человека, испившего трагическую чашу.

Я свел знакомство с Юлием Даниэлем в мордовском «народном университете», или, прибегая к излюбленной некоторыми фигуре умолчания, «в длительной творческой командировке». Есть тысяча способов лишить человека свободы. Но один из них — самый чудовищный: судить за убеждения, за мысль, за литературную работу.

Юлия и его сотоварища Андрея Синяевского приговорили за стихи, повести, литературные очерки, которые они публиковали на Западе, ввиду полной невозможности напечататься дома. Осужденные еще не успели прибыть к месту заключения, а самая прогрессивная в мире пресса уже заклеила их как оборотней, выродков, ради красного словца продавших мать и отца. Для таких, сетовал Михаил Шолохов, тюрьма — слишком мягкое наказание, к стенке их — и вся недолга...

Понятны страх и ненависть лагерной администрации, перед которой предстали интеллигентные, деликатные, но отнюдь не замордованные люди. Хотя и ныли у Даниэля незаживающие с войны раны, его все равно приставили к тяжелому физическому труду. Но приказ начальства — это одно, а реальная жизнь — совсем другое. Узники берегли своего собрата, исполненного доброты и человеколюбия. Не в силах отменить карцер, смягчить режим, отвести от Юлия репрессии, которые то и дело обрушивались на его голову, они считали своим долгом оказать другу моральную поддержку, по крохам доставляли ему пищу не только физическую, но и духовную — уж кто сколько мог.

«Юлий — человек!» — в этом сходились все «слушатели» нашего «университета». Даниэля не могли сломить никакие увещевания и запугивания. В карцерном полумраке он переводил стихи. Выполненный здесь же, в лагере, подстрочный перевод этих моих стихотворений Юлию передавали в карцер через зарешеченное окно, когда же решетка была заменена дырчатым металлическим щитом, то стали подсовывать подстрочник под дверь. Поистине не только книги имеют свою судьбу, но и каждое стихотворение, поэтический перевод.

Физически изнуренным, однако не сломленным духовно, вышел Юлий Даниэль на волю. Если это можно назвать свободой — без постоянной прописки, без права публиковаться под своим именем. И все же он не эмигрировал. Предпочел заточение «общего режима» на просторах родины чудесной. Как горестно, но верно подметил некий остроумец: не я предал родину — родина меня предала. В данном случае это святая правда.

Юлий не жаловался на судьбу, не терял чувства юмора, а работал, наслаждался поелику возможно жизнью, не забывал своих товарищей и друзей. И они, в свою очередь, не забывали о нем. Помнят его и сегодня и будут помнить всегда. Я тоже часто вспоминаю Юлия. Особенно в трудную минуту.

Кнут СКУЕНИЕК

Юлий ДАНИЭЛЬ

ЕЩЕ ОДНА ПЕСЕНКА

1965 ГОД

А что мне с вашей томной негой,
Когда от бешеной тоски:
— Дружок мой, за бутылкой сбегай,
Обмоем новые носки.

А что мне ваши ахи, охи,
Рулады светских Лорелей?
— Дела, дружок мой, очень плохи,
А ну-ка новую налей.

Я бесконечным ожиданием
Как труп щетиною оброс . . .
— Давай еще одну раздавим,
Обмоем пачку папирос.

Моей тоске еврейско-русской
Сродни и водка и кровать . . .
Да хрен с ней, с этою закуской,
Пора остатки допивать.

Пора допить остатки смеха,
Допить измены, страсть и труд!
— Хана, дружок мой. Я приехал.
Пускай войдут и заберут.

ЧАСОВОЙ

Памяти самоубийц

1

А пожалуй, пора заступиться
За «героя» вчерашнего дня:
Нет, не робот, не мрачный тупица
Охраняет людей от меня.

Не палач, не дурак обозленный,
Не убийца, влюбленный в свинец,
А тщедушный, очкастый, зеленый
В сапогах и пилотке юнец.

Эй, на вышке! Мальчишка на вышке!
Как с тобою случилась беда?
Ты ж заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда.

Это ж дело хорошего вкуса:
Отвергать откровенное зло.
Слушай, парень, с какого ты курса?
Как на вышку тебя занесло?

2

А если я на проволоку? Если
Я на «запретку»? Если захочу,
Чтоб вы пропали, сгнули, исчезли?
Тебе услуга будет по плечу?

Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно
В мордовской Богом проклятой дыре.
Ведь ты получишь отпуск — это точно,
В Москву поедешь к маме и сестре.

Ты, меломан, не руссуждай о смерти —
Вот «Реквием» . . . билеты в Малый зал . . .
Ты кровь мою омоешь на концерте,
Ты добро глянешь в девичьи глаза,

И с ней вдвоем, пловцами, челноками,
К манежу вниз, по тротуару — вниз . . .
И ты не вспомнишь, как я вверх ногами
На проволоке нотою повис.

3

Я весь разговор этот выдумал —
Не выдумал самоубийства,
Их выудил, выдавил, выдоил —
И пью, и не в силах напиться.

Ну, чем отвечать? Матюками ли,
Ножом ли, поджогом? Пустое!
Расправы в бессмыслицу канули.
Одно только слово простое,

Настойчивое, как пословица,
Захлебывается и молит:
— О Боже, не дай мне озлобиться!
Спаси — не обрушивай молот! . .

Ну, ладно. Мне долго до вечера,
Я взыскан полуденным светом.
Но глянет ли снова доверчиво
Вот этот? Вот этот? Вот этот?

О нем, забываемом начисто,
На картах давно не гадали.
Он — здешний. Он в людях не значится
Годами, годами, годами.

Обида — пустыня бескрайняя . . .
И зря прозвучит мое слово,
Когда, озверев от бесправия,
Он бросится на часового.

Тих барак с первомайским плакатом.
Небо низкое в серых клочках.
Озаренный мордовским закатом,
Сторожит нас мальчишка в очках.

ПЕСНЯ

На беленьком камушке сидючи . . .

Что-то скучно мне без воли,
Что-то дни идут впустую,
Сочинить бы песню, что ли,
Немудреную, простую.

Сочинить про то, что снится, —
Прикоснуться б, как руками, —
Про бегучую водицу
Да про бел-горючий камень.

Как на камушке сидела,
Воду в горсти наливала,
На три стороны глядела,
Напевала-колдовала.

Глянет влево — словно рядом
Бубны бьют, поют колеса,
И цыганка томным взглядом
В сердце мне глядит раскосо.

Глянет вправо — жаркой сказкой
Зной взыграет над дорогой,
Над девчонкою кавказской,
Над дикаркой длинноногой.

Глянет прямо — обернется
Королевишной далекой,
А кому под стать бороться
С белокурой, синеокой?

Как на камушке сидела,
По воде ладошкой била,
На три стороны глядела,
Про четвертую забыла.

Обернись ко мне собою,
Обернись ко мне самою,
Обернись ко мне судьбою —
Я тоску свою омою.

Маяту и опасенья
Поцелуями уйму я,
Нам обоим во спасенье,
С камушка тебя сниму я.

ЕЩЕ ОДНА ПЕСЕНКА

То ли была, то ли небыль
Из веселого сна?
Я в сражениях не был,
И не пил я вина,

Не был пулею мечен,
И стихов не писал,
Не глядел я на женщин,
Не ласкал, не бросал;

Безрассудство не славил,
Дни за днями губя,
И на карту не ставил
Ни других, ни себя;

Не плясал неуклюже,
На ветру не дрожал,
В подмосковные стужи
По лыжне не бежал;

За друзей не ручался
И влюбляться не смел,
На волнах не качался,
Песни петь не умел.

И в апрельскую сырость
Не плутал по земле —
Это все мне приснилось
В зарешеченной мгле . . .

* * *

Когда спохватишься, что «плавно»
Того же корня, что и «плыть» —
Ненужная утихнет прить
И станет солнечно и славно.

Как будто впрямь, без суеты,
Покачиваемый волною,
Любовно ладя с глубиной,
Ты движешься. И медлишь ты.

Когда поймешь, что «плоть» и «плыть»
В родстве не по одним лишь звукам,
И что в сплетенье многоруком
Их не разъять, не разделить, —

Как будто впрямь твои мечты
Сметают то, что видит разум:
Приемля жизнь и гибель разом,
Ты движешься. И медлишь ты.

Когда постигнешь, что близки
Пловцам певцы не только рифмой, —
Тогда прильнут, задор смирив свой,
Слова к спокойствию реки;

И вот неспешных строф плоты
Подвластны мерному влеченью,
И вместе с ними, по течению,
Ты движешься. И медлишь ты . . .



ПОРТРЕТ В ТРОННОМ ЗАЛЕ

Рассказ

Перевела Виола РУГАЙС

Янис КАЛНЫНЬ родился в 1922 году. Известный критик и литературовед. Долгие годы он был уважаемым директором Института языка и литературы Академии наук республики. Академик Янис Калнынь написал романы об основоположниках латышской литературы Райнжсе, Аусаклисе, Пумлуре и братьях Каудэнт.

В этом номере «Даугавы» предлагаем читателям познакомиться с одним из рассказов писателя.

То, что свадьбу Арне и Кристы будут справлять всего один вечер и половину следующего дня, не очень огорчило приглашенных. Конечно, неплохо бы повеселиться в доме у старого Анте — отца Арне — денька три, как оно заведено, зато не на всякой свадьбе поводишь самого государя. И чем ближе к торжеству, тем меньше люди говорили об Арне и его невесте; куда там, все твердили одно — мол, на этой свадьбе будет король, молодой Карл-Густав, совсем недавно, после смерти отца, вззошедший на престол. Было также известно, за что Арне, простому матросу, оказана такая честь: свадьба состоится в дни, когда будет спущен на воду только что построенный корабль «Викинг», по вантам которого придется побегать и Арне. А построен корабль по чертежам Карла-Густава и будет самым большим из всех, какие знавал королевский флот.

— Молодой государь хочет показать своим друзьям и недругам, сколь сильна его страна и какой мудрый муж правит ею, — рассуждали мужчины. — Иначе зачем бы ему с самого первого разу идти прямо в Нормандию и к ирландским берегам?

— Я бы на месте Арне не обрадовался, коли пришлось бы вот так лезть на мачту сразу от свадебного стола, — заговорил сосед Анте. — Жена только-только привенчана, ни познать ее не успел добром, ни к себе приучить. Неужто нельзя было сыграть свадьбу раньше?

— Никак нельзя было, — возразил отец жениха, с довольным видом сновавший в толпе гостей. — Когда молодой государь заслушал о свадьбе моего сына, он пожелал, чтобы ее сыграли в те дни, когда корабль сойдет на воду и отправится в первое плавание. «Тогда молодые проживут счастливую жизнь», — примолвил государь.

— Ну, коли так . . . — пробурчал сосед, сидевший за пиршественным столом, и продолжал — негромко, но и не таясь чужих ушей: — Ветер у него в голове, у молодого короля. Слышать, встает он по утрам на два часа раньше, чем старый государь. Министры в последнее время не успевают выспаться и ходят злые и желчные. Да что ни говори — невыспавшийся человек желчен. На два часа раньше вставать по утрам — это не шутка!

Арне кружил по дому взбудораженный и веселый, и никто не мог бы сказать — оттого ли, что ему так люба только что привенчанная жена, или же оттого, что в этот день их удостоит высокой чести сам государь. Казалось даже, что он более ошастливлен ожидаемым прибытием короля, чем женитьбой, ибо Арне то и дело принимался рассказывать кому-нибудь из гостей:

— Судно уже было почти готово, когда молодой государь по обыкновению наведался к нам, корабельщикам. Кто-то обмолвился про мою свадьбу и указал на меня. «Как тебя зовут, парень?» — спросил он, подойдя. Прежде чем я сообразил ответить, один из государевой свиты, в синих, пышных штанах, поспешил встрянуть: «Это матрос Арне». — «А как зовут твою невесту?» — снова обратился ко мне государь, и снова тот придворный хотел ответить вместо меня, но государю это не понравилось, и он сказал: «Я думаю, люди моего корабля сами способны назвать свое имя и не забыли, как зовут их невест». И государь оборотился ко мне. — «Имя моей невесты — Криста, она дочь кузнеца-якорщика Андерса», — говорю я. — «Кристал! . . .» — вскричал государь. Не то он удивился, не то растерялся. — «Кристал! Как же так?» — «Точно, Криста», — говорю. Мне-то уж лучше знать, как зовут младшую дочку Андерса. Тогда король серьезно так поглядел на меня и говорит: «Передай своей невесте, что я приду на вашу свадьбу. Но состояться она должна в тот день, когда новый корабль будет спущен на воду и отправится в свое первое плавание».

Пока Криста слушала, как Арне рассказывает это раз, потом другой, она радовалась, но когда Арне продолжал искать среди гостей все новых и новых слушателей, лицо ее омрачилось. Ей казалось, что Арне должен в этот день больше думать о своей молодой жене, чем о том, что их свадьбу посетит государь. Она рассердилась и на короля. Разве не ее с Арне свадьбу празднуют здесь сегодня? Все так заняты мыслями о короле, что про молодых чуть ли не вовсе позабыли. Криста не удержалась и, улучив минуту, сказала Арне:

— Мне было бы больше радости, если бы никакого короля на нашей свадьбе не было.

Арне опешил.

— Нам оказана такая большая честь! Ты слышала когда-нибудь, чтобы на свадьбу к своему матросу прибыл сам государь? И новый корабль — самый лучший и прекрасный из всех, какие только бывали на свете. Я рад, что и мне выпало идти на нем в его первое плавание.

Тогда Криста отвела молодого мужа в сторону от чужих ушей и негромко, встревоженно проговорила:

— Мой отец не верит в этот корабль. Посмотри, как он сидит один и молча осушает кружку за кружкой. Мой отец считает, что Карл-Густав ничего не смыслит в судостроении и что гордиться новым кораблем

нет причины. Просто никто не смеет сказать, что государь распоряжается строительством, ничего в нем не смысла.

— Боже упаси! Что ты такое говоришь, Криста? — воскликнул Арне. — Нам-то какое дело, смыслит чего государь или не смыслит, когда отдает распоряжения? Все равно он нас не послушается.

— Я и не собираюсь поучать государя, — возразила Криста. — Вот свадьбу он нам испортил, и радоваться тут нечему.

Арне никак не мог взять в толк ее речей.

— Увидишь — о нас будут говорить из рода в род, — сказал он. — Сделай веселое лицо, Криста, иначе гости подумают, что ты нисколько не счастлива стать моей женой.

Арне замешался в толпу пирующих, и Криста осталась одна. Немного погодя она уже слышала, что Арне в другом углу рассказывает, как к нему на новом судне была подошел государь и пообещал прибыть на его с Кристой свадьбу.

— Память о нашей свадьбе будет переходить из поколения в поколение. Все станут говорить: Арне и Криста играли свадьбу в те дни, когда был спущен на воду и вышел в первое плавание самый большой и самый могучий корабль. — на страх всем, кто за морем умышляет зло против нашего государя.

Криста под села к отцу, но разговора не получилось: кузнец-якорщик Андерс перебрал свадебного пива. Старик лишь глядел на свою дочь и плакал.

* * *

На свадьбе Арне и Кристи болтали много лишнего, но одно было неоспоримо: великий корабль строился под прямым руководством Карла-Густава. С юных лет наследник был словно помешан на кораблях, и бабушка, радуясь за внука, говорила:

— Его корабли пересекут моря, чужие страны затрепещут, когда они пристанут у далеких берегов и с них сойдут воины. Когда кончатся битвы, у моего внука будет много добра, с чем воротиться домой.

Возможно, в ее словах была доля правды, потому что бабушка многое повидала на своем веку: и потоки крови, вражьей и родной, и грузы золота и прочих сокровищ, привозимые на отчий берег.

— Кто боится вражьей крови, у того кладовые пусты, — учила бабушка. — А правителя с пустой казной не чтут ни подданные в своей стране, ни друзья и недруги за ее пределами.

Внук мужал, но чем старше он становился, тем больше рос его тайный страх перед бабушкой.

«Мне иной раз кажется — у нее руки красные, словно обагрены кровью, — признавался он себе и в мыслях пытался найти бабушке оправдание. — Она жила в трудные времена, которые, благодарение богу, уже миновали».

Однако чужих земель алкал и сам Карл-Густав, просто он не задумывался при этом о крови.

— Мы станем грозой для всех, если в наших гаванях будут стоять хорошо вооруженные корабли, готовые в краткий срок достичь самых отдаленных пределов, — говорил он. — Мы сможем вести переговоры, не пролив ни капли крови.

— А по мне — уж лучше бы ты оставался здесь, у меня под боком, и пусть бы людям твоим жилось хорошо, — отвечала мать. — Многие уходили в дальние моря, да сколько из этих скитальцев и воинов умерло в своей постели?

Юноше не были по нраву и слова матери. Неужто высшая мечта настоящего мужчины — прожить век так, чтобы на исходе лет умереть в своей постели?

Когда женские речи слышал отец, он не произносил ни слова, лишь загадочно улыбался, а в глазах его таилась и насмешка, и мудрая уверенность в том, что ему известна высшая истина, какая только может открыться человеку на этом свете. В таких случаях Карлу-Густаву вспоминалась висевшая в тронном зале картина, которую он давно невзлюбил. Он даже иногда подумывал: «Уж если есть человек, которого отцу следовало бы вздернуть либо заточить в самое глухое подземелье, — так это художник, написавший с него этот портрет. С него на мир взирает человек, в каждой черте лица которого запечатлены жестокость и сознание собственной силы. А глаза горят презрением и насмешкой: «Судите, сколько хотите, но все свершится так, как я решил; ваш удел и высший, священнейший долг — повиноваться». Разве эта картина не была откровенной издевкой над королевскими советниками и подданными? Державный муж, глядя с картины, неприкрыто подтверждал, что презирает тех, кто окружает его и исполняет его повеления. И это государь, которого каждый обязан почитать, как отца родного! Карлу-Густаву казалось, что любому, кто бы ни взглянул на картину в тронном зале, тотчас становится ясно, что художник зло посмеялся над всем правящим домом. Как мог отец допустить такое? Однажды юноша заговорил об этом с отцом, но король лишь улыбнулся в ответ, будто сын сморозил глупость. Затем отец посерьезнел и сказал: «Когда я увидел картину впервые, я думал точно так же, как ты теперь. Но мне захотелось испытать своих министров, и я заявил, что картина очень хороша. Мои министры тотчас согласились со мной. Они по сей день восхищаются портретом, и я тому рад. Так и должно быть. Избавь меня бог от той минуты, когда мои министры скажут, что на картине изображен человек, смеющийся над тем, как много еще трусости на свете».

В тот раз отец еще сказал Карлу-Густаву:

— Никогда не выпускай из виду тех, кто в тайной злобе что-либо замышляет про себя. Подобных старайся убрать в устрашение остальным. Одних — открыто, других же, большей частью, — исподтишка, чтобы — боже упаси! — не началось роптанье, которое может привести к открытому мятежу. А теперь ступай! Хорошенько учишь латыни. Кто знает, может наша страна настолько возвеличится, что тебя захочет услышать сам римский папа. Рим — это город, который находится на самом краю земли, но правит многими королями.

Уже в день смерти отца Карл-Густав решил, что велит вынести вон портрет из тронного зала. Он обмолвился об этом первому министру, однако дни шли и ничего не менялось. И вообще — молодой государь начал свое правление так, что его первый министр ничего не мог понять.

И повелось это с первого же дня его правления.

В котором часу его величеству будет угодно вставать?

— У каждого человека есть свои причуды, и у государя их не меньше, чем у последнего мерзавца в стране, — сказала жене первый государственный министр, укладываясь спать. — Причуды эти могут удивлять, но надо быть к ним готовыми. Во сколько встает старый государь и как он проводит день, нам было известно долгие годы. Ну а молодой? . . . В бытность свою наследным принцем Карл-Густав поднимался рано, так рано, что государю это даже не к лицу, но кто знает? . . . Мне

кажется, я поступлю разумно, если завтра встану спозаранок, до восхода солнца.

Хотя был поздний час, жена первого государственного министра не утерпела, наведалься к жене второго государственного министра и рассказала ей, как намерен поступить ее муж. Когда жена первого государственного министра ушла, жена второго государственного министра поспешила к жене третьего государственного министра и рассказала, что у ее мужа на уме. Жена третьего государственного министра, переговорив со своим мужем, среди ночи отправилась потолковать к своей лучшей подруге.

Той ночью словно смерч пронесся по всей стране — новый день застал высших должностных лиц разодетыми, позавтракавшими, молчаливо и благожелательно улыбающимися. В то утро они и словечка не сказали в гнев ни своим слугам, ни даже женам, потому что никто пока не знал, каков будет со своими слугами новый государь — суров или мягок, а жены у Карла-Густава и вовсе не было, так что неведение их было еще большим.

Карл-Густав, действительно, рано был на ногах, и все придворные оценили мудрость их первого министра и доброе сердце его супруги.

Дальше пошло уже не так гладко. Карл-Густав наспех позавтракал и велел подать карету. Первый государственный министр был в растерянности: должна ли свита следовать за государем или же государь намерен отправиться в путь один?

«Он ведет себя как мальчишка», — подумал первый министр и тут же устыдился своих мыслей, ибо сам постоянно твердил другим: кто дурно думает о своем государе, тот заслуживает заточения в самое глубокое подземелье.

Первый государственный министр собрал все свои силы и осмелился спросить:

— Должно ли всеподданнейшим слугам все милостивейшего государя сопровождать его в это утро?

Первый государственный министр стоял со столь смиренно опущенной головой и с таким несчастным видом, что Карл-Густав едва не фыркнул. Однако он вовремя сдержался и бросил с мальчишеской небрежностью, даже чуть извиняющимся тоном:

— Не надо меня сопровождать.

Не дожидаясь, пока слуга распахнет дверь, молодой государь понесся прочь, сам открывая двери. В стране наступил полный неясности день.

* * *

— На верфи! — крикнул кучеру Карл-Густав, вскочив в карету. — Да так, чтобы спицы сливались в колеса!

Карл-Густав был возбужден и весел и оттого даже немного сердился на себя. Неприлично так скоро после смерти отца появляться на людях с радостным лицом, мать делает правильно, что ходит в трауре и без улыбки.

Но как быть, если он не чувствовал ни малейшего сожаления об отце? Они жили рядом, не испытывая друг к другу ни любви, ни ненависти. Сын повиновался отцу, но, встречаясь с ним изо дня в день, не ощущал в себе того обожания, какое выказывали отцу его подданные — и, как замечал Карл-Густав, чем ближе к трону, тем бесстыднее и отвратительнее. Порой юноша досадливо думал: «Что за радость умным, уважаемым людям день за днем состязаться в лести и угодничестве? И так они мечтают прожить весь свой век! . .

Неужто отец счастлив видеть это раболепие изо дня в день, снова и снова?»

Юноше казалось, что воздух в отцовском дворце спертый и затхлый. Поэтому Карл-Густав после смерти отца приказал целую неделю держать окна открытыми настежь. И до сих пор не разрешалось задергивать их наглухо занавесями.

Первый министр поразился этому и сказал жене поздним вечером, когда можно было не опасаться любопытных ушей:

— Он поступает неразумно. В государевом жилище окна ни на миг нельзя оставлять открытыми, а в его собственных комнатах окна и вовсе должны быть плотно занавешены. Не дай бог, какой-нибудь злоумышленник проникнет через открытое окно во дворец! И не дай бог, если чужой глаз подсмотрит, чем занят или не занят в уединении государь!

— Карл-Густав молод, а у молодых ветры всего света свищут в голове. Слишком много он околачивается среди корабельщиков, — ответила жена первого министра. — Он еще не понял, что государь не может жить, как ему заблагорассудится. А теперь расскажи, что слышно новенького о его женитьбе.

* * *

Несколько дней спустя Карл-Густав снова ехал на верфи; к тому времени скорбь по поводу кончины старого государя в стране уже пошла на убыль.

Дорога вилась вдоль берега моря; там, где она вышла на самое высокое место обрыва, Карл-Густав велел остановить карету. Так происходило всякий раз: Карлу-Густаву еще ребенком нравилось смотреть отсюда вдаль.

Над просторами моря и береговыми скалами носились крикливые чайки, ветер гнал перед собою рябь, но Карл-Густав ощущал лишь соленое дыхание вод. Оно всегда волновало его, а в это утро, быть может, острее, чем когда-либо.

Немного погодя карета уже мчалась дальше.

Всем ароматам на свете Карл-Густав предпочитал запах смолы, обволакивающий лодки и парусники. И сейчас, пока он пробирался к Йохансону, производителю работ на строительстве корабля «Викинг», его ноздри расширились от удовольствия, заблестели глаза.

Производитель работ Йохансон, немолодой человек с умным взглядом, стоял посреди мастерской, где он не только трудился, но и порой, если дело затягивалось до позднего часа, укладывался спать. Тогда дочь приносила ему утром завтрак и прибирала отцовскую постель. Так было и нынче утром, когда вошел государь и на миг смешался, увидев здесь Кристину. Но тут же поздоровался с Кристиной и ее отцом, при этом, как показалось старому мастеру, с излишней поспешностью и даже будто угодливостью.

Кристина оставила отца с государем одних, она уже управилась и, захватив корзинку с посудой, пошла домой. Мастер пригласил государя сесть, а сам вынул из укромного шкафчика бутылку.

— Не угодно ли будет всемилостивейшему государю осушить чашечку? Это привез мне из Нормандии один капитан. Известно, тайком из далеких стран плохого не повезет.

— Немного погодя, быть может, — пробормотал Карл-Густав. — Если окажется, что мой приход не напрасен.

Тут сел и мастер, приготовясь внимательно выслушать государя.

— Я, мастер, явился к вам в этот ранний час с необычным делом, — начал Карл-Густав и от волнения вскочил с места. Он сделал несколько шагов к окну, затем стремительно вернулся, остановился перед старым мастером и проговорил, сясь быть спокойным:

— Я пришел к вам просить руки вашей дочери Кристины.

При этих словах поднялся на ноги и мастер. В глазах его мелькнуло смятение и даже страх. Или это лишь почудилось юному жениху? Не может быть, чтобы его сватовство оказалось неожиданностью для умного, зоркого старика. Разве Карл-Густав не задерживался на верфи дольше, чем нужно, когда здесь бывала Кристина? Старый Йохансон не мог этого не заметить . . .

— Всемиловейший государь! — Мастер наконец-то пришел в себя. — Вы оказываете мне и моей дочери высокую, смею сказать, даже слишком высокую честь. Я охотно даю вам обоим свое благословение. Но вы должны понять, что обращаетесь ко мне с делом, зависящим не от меня одного. Я бы сказал даже — от меня меньше всего. Известно ли ваше намерение моей Кристине?

— Я прежде хотел поговорить с вами.

— Это делает вам честь. Вы не желаете повелеть, хотя у вас есть на то право.

— Я считаю бесчестным принуждение к замужеству любой девицы в своем государстве, будь она даже из самых низов. И менее всего такое пристало властителю страны.

— Моим согласием вы заручились. Ваш долг теперь обратиться к моей дочери, чтобы намерение стало явью.

— Не могу ли я встретиться с нею здесь, у вас, мастер? Тут я увидел вашу дочь впервые, и этот угол с молотками да клещами мне милей любого зала в старом дворце, где положено пребывать всем правителям этой страны. И мне тоже.

— Я останусь на ночь у себя в мастерской, поэтому утром моя дочь явится сюда с завтраком. Я ни слова не скажу ей заранее, и вы еще можете свое намерение хорошенько обдумать и взвесить.

* * *

Как ни занят был мастер Йохансон, — ведь новому кораблю подходили сроки, — он послал одного из помощников немедленно позвать сюда жену.

— Передай нашей дочери, что молодой государь просит ее руки, — сказал мастер своей супруге, когда та, не пряча удивления и досады, явилась на верфь.

— Молодой государь? Карл-Густав? . . . — переспросила жена.

— Он самый. — Старый мастер старался говорить так спокойно, будто короли сватались к его дочери каждый день. — Ты должна понять, что мне не годится отказывать государю. Пусть Кристина утром, как обычно, придет ко мне с завтраком, здесь государь будет говорить с ней.

— Вот оно — чего я боялась пуще всего на свете! — воскликнула супруга мастера и разрыдалась. — А все этот тряпка Эгил — дотянул до последнего. Кристина давно бы могла быть его женой, а теперь — поди знай, что случится завтра!

— Что толку сейчас ломать голову, а тем более — лить слезы! — сердито сказал мастер. — Знать бы, что ты так расхнычешься, вовсе не предупреждал бы!

Жена и не слушала его, она продолжала свое:

— Уж этот мне недотепа Эгил! Кристина ведь сохнет по нем день и ночь. Или он ждет, чтобы Кристина сама ему навязалась?

— А по мне, так на Эгила никогда нельзя было надеяться, — уже спокойно заговорил муж. — Есть такие мужчины — вьются и вьются вокруг женщины, да этим все и кончается. Эгил точно из таких, и Кристине пора выбросить его из головы.

— Как же, жди! Кристина никогда не откажется от того, что задумала. — И жена мастера в сердцах снова залилась слезами. — Хоть бы ты открыл ей глаза! Неужто она откажет государю?

— И так нехорошо, и этак плохо. Вот все, что я могу сказать.

— Вот горе-то, о господи! Какая беда свалилась на наш дом! — не переставала стенать супруга. Но вдруг затихла и проговорила, словно не она только что рыдала в голос: — А для меня так никакой беды нет в том, чтобы стать тещей самого государя.

— Зато мне лучше бы никогда не видаться с ним, — возразил мастер. — И зачем только я выучился строить корабли!

— А что, опять им что-то приспичило? Чего еще от тебя хотят? Если бы Кристина поняла, где ее счастье, тебе никакая беда не грозила бы. И нам, и нашим родным и друзьям.

Жена мастера стала говорить с дочерью.

— Я знаю, что нынешний государь еще раньше увивался за тобой, так скажи мне как матери — не случилось ли греха между вами?

— Увивался? Вот уж нет! Он же видел, что я ему никакого расположения не выказываю.

— Не может быть, чтобы ты не замечала его благосклонных взглядов.

Кристина ответила обиняком:

— Тогда злые язычки ославили бы меня на весь город, и эти речи дошли бы и до твоих ушей.

Наконец мать спросила напрямик:

— Скажи, какой ответ ты собираешься дать государю?

— Скажу, что никогда о нем не думала, не гадала и потому . . .

— Неужто ты сама не понимаешь, что эти твои речи — одна кичливость и вздор! Что ты упряма, это ведомо и твоему отцу. Не понимаешь разве, что тебя сватает не старик, у которого только и есть что богатство да власть? Наш правитель молод и красотой его бог не обидел. Ты не смеешь сказать «нет». Так ты восстановишь государя не только против себя, но и против отца. А про себя скажу откровенно: я бы сочла за честь стать тещей самого государя.

— Оставь меня, мать! Оставь! Почему ты так жестока со мной?

— Ты упорствуешь потому, что думы твои заняты другим, этим Эгилом. Но ты напрасно рассчитываешь на него. Если бы он помышлял о тебе всерьез, ты бы давно уже была его женой. Но он и не думает просить твоей руки, того и гляди, ославит перед людьми, и все тут.

— Я же сказала: уйди, оставь меня!

— Достойно ли это, что ты родной матери даже не скажешь, как думаешь поступить в решающий час своей жизни?

— Я все сказала.

— Это безумные речи. Я и слышать-то их не хочу.

Кристина не сдержалась и выбежала из комнаты.

Мать долго сидела в ночной тьме, потом легла, но сон не шел, и она знала, что не сомкнет глаз до утра. Немного погодя она зажгла свечу и направилась в комнату дочери. Кристина лежала, отвернувшись к стене. Мать тотчас догадалась, что дочь не спит.

— Послушай, Кристина! — начала мать. — Когда ты будешь шить под-

вечный наряд, не забудь и про меня. В государевом дворце, надо полагать, отменные мастерицы.

Мать подождала ответа, но Кристина молчала и продолжала лежать неподвижно, словно бездыханная.

Мать не уходила. Она заговорила снова:

— Дворцовые мастерицы небось знают, кто теперь у всех на виду. Куда это годится, если мать государевой невесты явится на свадьбу одетая как простая жена корабельного мастера.

Мать опять подождала, но дочь, как прежде, молчала. Наконец мать со вздохом пошла к двери.

— Я же прекрасно знаю, что ты не спишь и слышишь меня. Тебе всегда нравилось поступать назло своим родителям.

Когда стало светать, мать снова пришла к дочери. Кристина сидела на скамье, опустив руки, казалось, она постарела на десять лет.

— Я зашла взглянуть, проснулась ли ты, — сказала мать. — Боялась, как бы ты не опоздала. Боже правый! Какое у тебя лицо! Ты сегодня должна быть такой красивой, как только может быть хороша юная девушка.

Мать принесла горшочки с притираниями и пузырьки с травяными настоями, и дочь не стала противиться, она делала все, что следовало, чтобы скрыть следы бессонной ночи. Когда Кристина уже шла к двери, отправляясь на верфь, где ее ждала встреча с женихом, мать снова пристала с расспросами:

— Так могу я надеяться? Быть или не быть мне отныне в высокой чести? Какой ответ ты дашь?

— Я и сама еще не знаю, мама, — наконец, без строптивости и гнева, ответила усталая и несчастная Кристина.

Когда Кристина отворяла дверь в мастерскую отца, ей было ясно, что она скажет жениху, но увидев робкую улыбку Карла-Густава, властителя страны, она неожиданно для себя попросила дать ей несколько дней на раздумье.

— Все случилось так неожиданно, — в смущении добавила Кристина. — Молю вас, не гневайтесь на меня!

Государь тотчас согласился. Казалось, слова Кристины даже обрадовали его, глаза юноши просияли.

— Это делает вам честь, что вы не отвечаете сразу согласием, — сказал Карл-Густав. — Я рад, что вы не спешите очертя голову назвать мужем правителя страны, но желаете увидеть в нем человека, которого могли бы почитать и любить. Мне всегда казалось, что я хоть немного да нравлюсь вам. Вы поразили меня в самый первый раз, когда я увидел вас в этом же месте, где мы находимся теперь.

И Карл-Густав сказал, как он представляет себе дальнейшее:

— Я не хочу вас торопить. Нет, я разыщу вас на следующий день после спуска на воду нового корабля. Надеюсь, что тем я продлю свой праздник, ибо новый корабль я считаю высшим достижением в своей жизни доселе, самым большим сокровищем.

* * *

Кристина не открыла матери всей правды. Она давно замечала, что Карл-Густав неравнодушен к ней. Еще в ту пору, когда никто даже не заговаривал о болезни старого государя и не ждал, что он так скоро покинет этот мир.

Кристина солгала бы, если бы сказала, что Карл-Густав неприятен ей. Но она все время остерегалась, как бы случайное влечение не

переросло в любовь и страсть. Эта любовь не подарила бы Кристине никакой радости — ей ли, дочери мастера-корабельщика, мечтать о супружестве с наследником или государем? Поэтому она старалась не смотреть на юношу, встречая его на верфи или на устроенном в городе празднике корабельщиков, который посетил и юный Карл-Густав. Может быть, поэтому она с удвоенным упорством старалась покорить сердце медлительного Эгила, корабельного плотника, о котором отец говорил как о парне, сноровистом в деле.

Но вопреки ее желанию, у Кристины не выходила из памяти одна давняя беседа с Карлом-Густавом. Случилось это вечером, когда на берегу моря, на площадке перед верфью, плясали и водили игры участники праздника. С ними был и Карл-Густав, который, видно, лучше всего чувствовал себя в окружении корабельщиков и моряков. Во время игр в тот вечер Кристина несколько раз оказывалась в паре с Карлом-Густавом. И по условию игры Карлу-Густаву не раз приходилось брать Кристину за руку, а потом кружить ее в веселом танце. Ей не было неприятно, нет, Кристина и сегодня могла бы подтвердить это. Потом они гуляли в скалах на ночном морском берегу, светила луна, и Кристина смущалась, когда Карл-Густав то и дело старался заглянуть ей в глаза. Прижать ее к себе или — боже упаси! — поцеловать, как это сделал бы почти любой из парней с верфи, Карл-Густав не пытался. Нет, этого он не сделал, хотя Кристина и сегодня не могла поклясться, что такая дерзость показалась бы ей ужасной . . .

В тот вечер состоялся еще один разговор.

— Я видел, с кем ты оставалась вдвоем на берегу моря, — сказал Эгил, который, как обычно, собрался проводить Кристину с танцев домой.

Кристина взвилась как ужаленная.

— Так я и знала, что кто-то следит за нами тайком. Как тебе не совестно!

Эгил не обиделся на ее слова.

— Вы ничего такого не делали, — ответил он. — Ты даже не пыталась крепче прижаться к Карлу-Густаву, как это сделала бы любая из девушек, которые были нынче на празднике.

Кристина тогда, рассердившись, бросила парня одного и убежала домой.

Но и на это Эгил не обиделся. Когда они на следующий день случайно столкнулись на верфи, Эгил сказал, светло и ласково глядя на Кристину:

— Ты не сердись на меня, Кристина. Я уже говорил тебе, что для меня радость то, как ты вела себя на берегу, радость и то, как ты вчера рассердилась и убежала от меня. Ни одна из наших девушек не смогла бы так.

С той поры их дружба стала крепче, и Кристина считала, что это хорошо. Порой ей казалось, что Эгил вот-вот попросит ее руки, но время шло, а этого так и не случилось. Кристина злилась про себя, она решила, что Эгил мог бы стать ей хорошим мужем. Не было парня порядочнее его. А когда они поженятся, все будет хорошо и спокойно, никакие шальные мысли не посмеют ее тревожить.

И вдруг — предложение молодого государя! Кристина так старалась не думать о Карле-Густаве, и это ей удалось. О господи, ну почему они с Эгилом не муж и жена? Почему Эгил хотя бы вчера, позавчера не попросил ее руки? Тогда ей совсем легко было бы говорить нынче с Карлом-Густавом.

* * *

Поздно вечером, когда в доме мастера Йохансона погасли все окна, в дверь тихо постучали. За дверью стоял человек в плаще странника. Он хотел поговорить с производителем работ на корабле «Викинг».

— Это чрезвычайно важно, — втолковывал чужак слуге, который стоял в приоткрытой двери.

Еще раз настороженно оглядев пришедшего, слуга пошел будить хозяина.

— Нам надо поговорить с глазу на глаз, — сказал незнакомец, когда его ввели к мастеру в гостиную. Мастер дал знак, и слуга исчез. Они остались вдвоем, но чужой не унимался:

— Будет благоразумнее запереть дверь изнутри.

Мастер повиновался, затем снова оборотился к незнакомцу, который продолжал стоять посреди комнаты.

— Садитесь, ваше превосходительство!

Незнакомец едва заметно вздрогнул и отбросил капюшон, скрывавший его лицо.

— У вас меткий глаз, мастер Йохансон, — сказал первый государственный министр.

— Когда строишь корабли, надо уметь сразу отличить годное дерево от негодного, — ответил мастер, не спуская глаз с гостя. — Правду сказать, я даже ждал вас.

— Ну что ж, вы не ошиблись. Я пришел, — сказал гость. — Настал последний срок что-либо предпринять. Если мы вообще считаем разумным что-либо предпринимать в этом сложном деле.

Мастер помедлил немного, затем спросил:

— И каково же мнение все милостивейшего первого государственного министра?

— Будь мне самому все ясно, я не пришел бы сюда. Во всяком случае, не ночью и не тайком. Скажите, вы по-прежнему считаете, что новый корабль не удержится на воде?

— Я уверен в этом больше, чем прежде. Он и мили не пройдет, как погрузится в пучину. Но это и хорошо, берег будет не так далеко и люди получат возможность спастись.

— А что, если вы заблуждаетесь?

— Увы, я строю корабли с отроческих лет. Я знаю, как море мстит неверно построенным судам. Морю не прикажешь, надо уметь с ним ладить, другого выхода у человека нет.

— Любой может ошибиться. В том числе и вы, мастер. Государь ведь уверен, что велит строить хороший корабль.

— Так-то оно так, но, к сожалению, государь мало разбирается в судостроении, слишком мало. Но сам государь, на беду, о том не подозревает. А еще большая беда в том, что он может повелеть всей стране работать, как он замыслил, — будь это даже во вред людям.

— Ах, надо было все же с самого начала ясно и настойчиво показать, что его расчеты ошибочны и что корабль неудачен!

— Это я и делал, насколько позволяло приличие. Но государь, хотя и ценит меня, считает, что я боязлив и умею работать лишь по старинке, как работали мастера до меня. Он думает только о могуществе корабля и о противниках государства, а у меня нейдет с ума еще и море: как оно примет корабль, который с виду и впрямь превосходит все, что строилось у нас прежде. Неужто мой долг был выбрать время и ясно сказать своему повелителю, что он в судостроении — как бы лучше выразиться — невежда? Ведь и вы, ваше превосходительство, до сего дня не осмелились сделать это, хотя я давно и многократно говорил вам о том, что думаю.

— Я не сделал этого потому, что не был до конца убежден в вашей правоте.

Старый мастер вспылил:

— Теперь вы, ваше превосходительство, ищете отговорки! Мне они не нужны, я вас нимало не виню. Знаю, нет в стране человека, который осмелился бы сказать государю в глаза, что он навязывает свою волю, а сам — невежда. Никакая правда не спасла бы человека в такой час . . .

— Гм! . . . Это действительно было бы безумством, — пробурчал первый государственный министр. — Такая откровенность ничего хорошего не принесла бы и стране: государь тотчас нашел бы других исполнителей, таких, кто полностью ему повинуется.

— Что же мне оставалось? Если бы я отказался строить этот корабль, на мое место нашли бы другого, — сказал мастер.

— Я рад, что в этом, najważнейшем вопросе мы мыслим одинаково. Поэтому, мне думается, нам надо точно знать, как поступить сейчас, когда несчастье с кораблем уже на пороге: позволить всему идти своим чередом или же попытаться еще раз побеседовать с государем? Ведь уже истрачено сто тысяч талеров из государственной казны! . .

— Как вижу, вы уже сделали выбор. Вы предпочитаете и наперед сохранить свою должность.

— Быть может, это звучит ужасно, однако истина остается истиной: потеряя я свою должность — в судостроительном деле ровно ничего не изменится. Разве что в тех палатах, которые занимаю я, сядет кто-то другой. Так надо ли мне легкомысленно уступать другому свои палаты, а может, и столы, стулья, шкафы в придану?

Мастер молчал, умолк и первый государственный министр, оба сидели, подавленные зловещими думами.

— И вы полагаете, что все, кто ни есть на корабле, могут погибнуть? — спросил первый государственный министр, нащупывая какой-нибудь выход.

— Нет, не так все безнадежно. Кому-то всегда удастся спастись.

— И те, стало быть, поймут, что были обречены на верную смерть?

— Пожалуй, так.

— Это ужасно, однако я должен сказать: для страны будет лучше, если никто из них не переступит больше порог своего дома.

Первый государственный министр собрался уходить.

— Вы ни с кем больше не делились своими мыслями о корабле? — спросил он.

— Нет, но самые знающие из корабельщиков мне не раз окольно высказывали свои опасения. А я им отвечал: «Корабль строится по приказу самого государя. Или вы сомневаетесь в государевой мудрости?» Тут самые дерзкие прикусывали язык.

— Старый государь тех вельмож, кто позволил себе усомниться в его мудрости, больше не приглашал на совет. — Первый министр стал немного словоохотливей. — А как я погляжу, каждый, кто удостоился государевой благосклонности, желает сохранить ее до конца своих дней. И даже дальше.

Это была еще одна попытка оправдаться, но и мастер Йохансон, видимо, старался подавить внутреннюю тревогу, ибо сказал:

— Даже в самый грозный час человека не оставляет надежда: быть может, все повернется к лучшему и окончится добром. Хотя . . .

— Об этой нашей встрече, разумеется, не должно знать ни одна живая душа. А о тех, кому суждено быть на корабле, я снова хочу повторить: самое лучшее, если никто из них не доберется до берега. Где молчание, там и покой.

* * *

Дочь мастера Йохансона Кристина отважилась на такое, чего никогда не посмела бы раньше: она сама искала встречи с Эгилом и теперь, переступая порог дома юноши, была уверена, что совершает великую жертву. Эгил как раз кормил у окна голубей; увидев Кристину, он заметно смутился и даже оторопел.

Смутилась и Кристина, однако тут же взяла себя в руки и поспешно заговорила, чтобы объяснить свой приход.

Сам государь просит ее руки, и Кристина хотела бы знать, что думает о том Эгил. Какой ответ должна она дать Карлу-Густаву, молодому государю? Ведь она и Эгил — добрые друзья, правда ему случалось и наговорить лишнего — будто она нравится ему больше всех на свете . . . Вот почему она хочет в решительный час своей жизни услышать, что думает Эгил. И пусть Эгил знает, что она никогда не заглядывалась на Карла-Густава. Другой человек ей нравится гораздо сильнее. Если Эгил сочтет, что поэтому она должна Карлу-Густаву, государю значит, отказать, то Кристина готова сделать так, чем бы это ни грозило ей впоследствии.

Слушая речи девушки, Эгил терзал свои пальцы, Кристина ясно слышала, как пощелкивают натруженные суставы, и ей это не нравилось. Она видела также, что Эгил слушает, опустив голову и упершись взглядом в пол; он лишь изредка, на миг, поднимал на нее глаза.

«Он же будто загнанный в угол пес. У него нет смелости ответить. Какая я дура, что пришла сюда», — тревожно думала Кристина. Не лучше ли сразу встать и уйти? Наверное, так и надо сделать. Но она продолжала сидеть. Эгил по-прежнему молчал.

Кристина не вытерпела, вскочила и, зло сверкнув глазами, бросила парню в лицо:

— Я вижу, ты ничего не хочешь мне сказать. Ты не смеешь даже признаться: зря тот парень все норовил проводить домой дочку мастера Кристину. Так он едва не попал в передрыгу, которая может сломать ему жизнь.

Наконец заговорил и Эгил.

— А разве не так, Кристина? — возразил он. — Я давно понял — не след бедному подмастерью тягаться с самим государем. Это все равно, что вынести самому себе смертный приговор. Можно ли требовать от человека такое?

Кристина смешалась:

— Требовать нельзя . . . Понятно, что нельзя . . .

Но вот она уже снова собралась с духом:

— А ведь я, Эгил, и не требую этого. И с чего ты взял, будто именно тебе надо тягаться с государем? Почему ты решил, что я говорю о тебе? Я имела в виду совсем другого парня. Нет, это даже странно: почему ты решил, что я говорю о тебе?

Эгил горестно поглядел на девушку и мягко проговорил:

— Прости меня, Кристина! Мне и вправду на миг почему-то показалось, что ты говоришь обо мне.

— Нет, нет! С какой стати!

— Когда ты станешь супругой государя, ты будешь счастлива, Кристина. Тебе, может, даже будет стыдно вспоминать обо мне. Смотри, не поминай лихом. Обещай мне это, Кристина!

Кристина вспыхнула:

— Ни добром, ни лихом не помяну я тебя. Вообще не стану вспоминать, жил или не жил такой на свете.

— Вижу, ты сердисься на меня, Кристина. Пройдет время, и ты сама поймешь, что сердилась зря.

— Разве на тебя можно сердиться? Нельзя — и это самое страшное. Ты даже не понимаешь, как это страшно!

* * *

В день спуска нового корабля на воду Карл-Густав поднялся еще до рассвета. Что так оно и будет, похоже, предвидели все его министры — и они уже были на ногах, но выглядели скорей встревоженными, чем радостными. Первый государственный министр ходил с омертвелым лицом, и это заметил сам государь.

— Похоже, ты не очень-то рад этому дню, — сказал Карл-Густав.

— Простите, ваша милость! — отвечал первый министр, по-прежнему без тени улыбки на лице. — Ныне великий день, и я озабочен тем, чтобы все прошло хорошо.

— Все будет хорошо! — воскликнул государь. Он уже спешил дальше.

День был полон солнца, и берег был полон народа. Сияющая и счастливая, стояла среди празднично принаряженных людей Криста, молодая жена Арне. Сам Арне уже был с товарищами на борту и, когда корабль, скользнув на воду, медленно пошел вдоль берега, Арне радостно махал жене и приветствовал ее громкими возгласами.

— Господи! Разве это прилично — так орать? И притом выкрикивать мое имя! — волновалась Криста, но свадебные гости, явившиеся с нею вместе, смеялись и шутили:

— Это он с радости, что в первый же день избавился от тебя, Криста. Каждый мужчина норовит хоть ненадолго да сорваться с привязи.

Свадебные гости подхватили Кристу, стали качать на руках, чтобы Арне мог лучше разглядеть свою женушку, и громко кричали его имя. Криста барахталась, пытаясь вырваться из крепких рук парней, но любому было видно, что она сегодня счастлива.

Корабль медленно скользил дальше, в открытое море, и все время с берега раздавались восторженные крики, на которые не менее радостно отзывались моряки. Государь и его министры махали высоко поднятыми руками, трещали барабаны, гремели пушки, мимо государя, сверкая саблями, маршировали солдаты. Был третий час пополудни. Чем дальше уходил корабль, тем больше суетился первый государственный министр, он махал азартнее всех, хлопал в ладоши, а затем подозвал своего посыльного и негромко приказал:

— Пусть Олаф расшевелит их! Крики ликования должны звучать громче!

Посыльный первого государственного министра тотчас поспешил прочь, и немного погодя в толпе стоящих на берегу крики зазвучали громче и веселее.

И вдруг настала мертвая тишина. Гнетущая тишина. Что происходит там, в море? Не обманывают ли глаза? Корабль под внезапным шквалом ветра, ударившим в паруса, как-то странно качнулся.

Теперь уже на берегу послышался вопль ужаса: на глазах у всех громадный корабль завалился на левый борт. Что это означало для моряков, находившихся на судне, — объяснять людям, всю жизнь проводившим у моря, было излишне. На их глазах свершалось страшное несчастье! Там, в море, начался ужас.

Палубные матросы, ища спасения, прыгали в воду, некоторые еще растерянно металась по быстро тонущему кораблю, но людям на берегу было ясно, что многие останутся в трюмах и отсеках, так и не сумев выбраться на поверхность моря.

На судне было свыше четырехсот человек. Кому из них посчастливится достичь берега?

Первым, казалось, опомнился первый государственный министр. Лодки! Лодки сюда! Пусть самые малые! Пусть негодные! Надо спасать людей!

Карл-Густав стоял как истукан. Понимал ли он, что происходит в море? Он тупо глядел, как играет солнце на морской глади, где копошатся какие-то твари, отчаянно вопя; вопли раздавались и на берегу. Громко рыдали женщины, а мужчины проклинали и этот день, и корабль, который приспичило строить черт знает для чего. Чтоб сделать плавучий гроб морякам, молодым парням?

Лодки сыскались на удивление быстро. Можно подумать, что они уже были наготове в ожидании несчастья и теперь неслись спасать из воды тех, кого не увлекла пучина вместе с проклятым кораблем.

— Великий государь! Вы не должны видеть, что происходит там, в море. Мы делаем все, что в человеческих силах, — обратился к королю первый государственный министр. Он повел Карла-Густава к карете, и тот подчинился, как малый ребенок. Похоже, он все еще не понимал, что за оказия вдруг приключилась в море.

Вопли и рыдания не умолкали. Не многих сумели привезти на берег лодки. Недосчитались тут и Арне, мужа Кристи, который еще под утро продолжал твердить гостям, что на его свадьбу явится сам государь и что предание об этом будет переходить из рода в род.

Был уже поздний час, когда Крису удалось наконец увести домой. Всю ночь она просидела на кровати, не отвечая, когда с ней заговаривали. Порой Криста принималась что-то быстро бормотать, но слов ее никто не разбирал.

* * *

Жены и дочери корабельного мастера Йохансона не оказалось среди тех, кто глазел на спуск нового корабля на воду. Мастер не велел им выходить, а когда ни дочь, ни жена и не думали слушаться, он сердито и жестко сказал:

— Запрещаю вам показываться нынче на берегу и не стану даже объяснять почему!

Потом он, желая смягчить свою суровость, добавил:

— Бабий ум короток, потому-то бог дал жене мужа, а дочери отца — для послушания.

Мастер даже задумал было своих любопытных сорок — так называл он обеих женщин — запереть в доме, но когда жена и дочь наконец покаялись не ходить на берег, оставил дверь незапертой.

Однако Кристина сама после ухода отца задвинула дверной засов у себя в комнате. Назавтра ей предстояло дать ответ государю, а мать с утра до вечера только и знала, что изводить ее вопросами, какой ответ она готовит, да поучениями — как ей, дочери, держаться во время разговора с государем.

— Он должен видеть, что ты росла в порядочной семье, где берегут девичью честь, — снова и снова напоминала мать.

Тяжелы были для Кристины дни и часы, минувшие после разговора с Эгилом. Крестину просто бесило то, что Эгил неприкрыто старался отделаться от нее. Как он смел! Сколько раз Кристина позволяла ему провожать себя; прощаясь, они подолгу стояли возле дома, где она жила. Он что, ослеп, этот Эгил? Что он себе вообразил? Будто не понимает, что Кристина охотно ответила бы ему согласием — ведь

сам он явно о том только и мечтал? Почему вдруг все произошло наоборот? Кристина в досаде и обиде заливалась горячими слезами.

Но спустя немного времени Кристина с удивлением поняла, что она сама виновница своего горя. Сама и только сама! Она ведь не любила Эгила, никогда по-настоящему не любила его! Все время она думала лишь о Карле-Густаве, юноше, который стал теперь правителем страны. Она лишь упрямо заставляла себя полюбить Эгила. Тот был нужен Кристине как заслон от Карла-Густава, мечтать о котором всерьез было глупо. А Эгил, наверно, догадался, что он ей чужой! Видно, не решился взять жену, которая в душе холодна к нему. Правда, во время их недавней встречи Эгил держался как жалкий рохля, но мог ли он встать на защиту любви, которой у Кристины-то и не было? В тот час он, знать, навеки распрощался с надеждой когда-нибудь назвать Кристину своей.

Впрочем, Эгил недолго занимал мысли девушки, зато она часами представляла себе, с какой искренней радостью скажет Карлу-Густаву «да» и как счастливы будут они оба в тот миг. Кристина даст обет не государю, а человеку, который ей дороже всего на свете. И это случится на другой же день после спуска на воду нового корабля. Как медленно тянутся дни и часы, и нестерпимо вдвойне с утра до вечера слушать материнские толки.

Не успел отец вернуться домой, а Кристина с матерью уже узнали о случившемся. Что это означало для семьи Йохансонов, обе женщины поняли только после того, как в дом вошел отец со словами:

— Теперь начнется дознание — и меня могут назвать главным виновником этого ужасного несчастья. Кто-то же должен быть виноват. Даже если беда случилась по вине тех, кто отдает приказы.

Возвращаясь на верфь, мастер Йохансон простился с женой и дочерью, словно расставался навеки:

— Может статься, и не свидимся больше.

В доме поселился страх и горе. Неужто за вину верховных повелителей должен расплачиваться тот, кто лишь исполнял повеления?

Первой опомнилась мать.

— Теперь, Кристина, ты одна можешь спасти отца. Не пошлет же государь на виселицу собственного тестя. Будешь говорить с ним завтра — замолви словечко и за отца. Боже! Боже! Ты непременно должна это сделать.

Кристина в душе согласилась с ней. Карл-Густав, конечно, будет рад утешить в горе свою невесту.

Но мать терзали сомнения:

— Хорошо, если Карл-Густав еще не раздумал брать тебя в жены. Это ты во всем виновата: зачем не обещалась сразу? Сама теперь видишь, куда может завести гордыня?

* * *

Вечером к государю были созваны все, кто принимал какое-либо участие в строительстве нового корабля. Это был тяжкий час; собравшиеся понуро молчали. Кто сейчас мог поручиться за свою участь! Поэтому все были более чем поражены, услышав негромкий, задумчивый вопрос государя:

— Откуда вдруг взялось так много лодок, которые направились к месту бедствия?

Вопрос был настолько неожиданным, что зал охватило смятение.

Никто не нашелся, что ответить, и Карл-Густав повторил уже немного громче:

— Кто был тот, что уже заранее приготовил лодки к нынешнему несчастью?

Когда и на этот раз никто ничего не ответил и молчание затянулось, первый государственный министр с робкой почтительностью заметил:

— Никто из нас не ожидал несчастья, всемилостивейший государь.

— Вот как? — резко бросил Карл-Густав, и первый государственный министр униженно нагнул голову, не смея поднять глаз на государя.

А Карл-Густав, казалось, уже взял себя в руки и снова спросил, с грустью в голосе:

— Кто приготовил лодки? Тот человек был уверен, что беда неминуема.

В зале снова воцарилась мучительная тишина. Тогда вперед шагнул корабельный мастер Йохансон.

— Это сделал я, — глухо сказал старый мастер, как человек, который по доброй воле идет на виселицу, ибо уличен в тяжком преступлении.

Зал оживился, не дрогнув лишь Карл-Густав. Видно, его не удивило признание старого мастера.

Теперь вперед вышел также первый государственный министр и громко спросил:

— Почему вы это сделали, мастер Йохансон? Неужто вы строили корабль, чтобы он пошел ко дну даже без волн и шторма?

— Корабль, каким он был задуман, я строил на совесть. Каждая доска в нем лучшего дерева, и каждый шпенек забит намертво. Я следил за тем, чтобы все работы исполнялись честь честью, — ответил старый мастер.

— И по голосу совести вы уже заранее велели собрать лодки к тому часу, когда корабль выйдет на глубину? Так, значит, вы не верили, что корабль удержится на воде? Вы знали, что он даже не успеет дойти до открытого моря?

— Каким должен быть корабль, было настрого задано, — твердо произнес мастер — как человек, которому больше нечего терять.

— А вам не кажется, что вы поступили, как бы тут выразиться, по меньшей мере странно? — продолжал допрашивать его первый государственный министр.

Вмешался Карл-Густав. Видно было, что он не желает продолжения разговора:

— Мастер Йохансон единственный из вас, кто честно держался в этот день. Почему произошло бедствие, я постараюсь выяснить, переговорю с каждым из вас в отдельности. Ступайте! И первым со мной останется корабельный мастер Йохансон.

Беседа их была краткой. Мастер напомнил, что на совете, где обсуждался проект строительства «Викинга», он сразу возразил, что корабли так не строят, однако никто не хотел его слушать.

— И вы, ваше величество, также, — сказал старик. — Все были рады, что небывалый корабль будет на удивление чужим странам, и про то лишь говорили. Все тогда были умные, один я труслив и, так сказать, старомоден. Но . . . морю, к сожалению, не прикажешь. Морскую науку надо почитать еще пуще, чем самого могучего государя. Нынешний горестный день — вот самое ясное и самое страшное тому свидетельство.

Карл-Густав, ни единым словом не перебивая, выслушал старика, а под конец лишь бросил:

— Ступайте!

«Все кончено, — мрачно подумал мастер Йохансон, покидая государевы палаты. — Похоже, напрасно придет завтра Кристина ко мне на верфь».

Карл-Густав продолжал расспрашивать людей, связанных со строительством корабля.

Все отреклись от всякой ответственности: как было решено, так считали и они сами. Наконец Карл-Густав не выдержал, вскочил и закричал:

— Судили-рядили о том, как строить корабль, и забыли, что речь-то о людях. И осудили на смерть сами своих моряков. Неужто непонятно, что любое большое начинание может пойти либо на пользу, либо во вред людям?

Допрашиваемый молчал. Карл-Густав сдержался и спросил уже спокойнее:

— Когда решали о корабле, вы сами-то что думали?

— Я-то? Сомневался, не торопимся ли мы. Но я корабельному делу не учен, я думал . . .

— Думали, как бы не думать . . . и ни за что не отвечать.

Самый долгий разговор у Карла-Густава был с первым государственным министром.

— Можем ли мы сегодня с уверенностью сказать, что корабль был плохо спроектирован? Я считаю, что корабль был построен как подобает, но правили им неумело. Сразу можно было заметить, что у корабля какой-то необычайный ход, и не диво, что он перевернулся. По-моему, надо призвать к ответственности капитана корабля. Не странно ли, что когда столько людей утонуло, он сумел спастись? И слава богу, что он спасся. Есть ответчик, которого государь властен покарать, выказать ему и свою справедливую суровость и безграничное милосердие.

Карл-Густав непроницаемым взглядом смерил первого государственного министра и проговорил, медленно отделяя каждое слово:

— Такая власть, как известно, дана мне над любым из моих подданных. И над вельможей, и над холопом.

Первый государственный министр едва заметно вздрогнул и удалился с весьма озабоченным видом.

* * *

Когда карета повернула к верфи, кучер, как обычно, стал нахлестывать лошадей.

— Нам незачем спешить, — бросил государь. — Езжай тише.

Никогда еще не бывало такого. И на круче не остановились, чего тоже до сих пор не случалось. Государь, казалось, и не замечал, что рядом с дорогой — море.

«Это можно понять, — подумал кучер. — Никто еще не доставил моему господину такого большого горя, как это море . . .»

На самом же деле Карл-Густав сейчас не помнил о море. Его волновала встреча, которая должна была состояться с минуты на минуту.

«Дочь мастера Йохансона улыбнется и скажет «да», — с горькой насмешкой думал Карл-Густав. — Но в этот миг мысли ее будут не со мной. Она будет думать об отце, трепеща суровой кары, которая может его постигнуть. А ведь Кристина, как и все, знает, что подлинный виновник — я сам».

Карета катила вперед, а мысли Карла-Густава сплетались в бесконечную нить: «Неужто виновен я один? Кристина заблуждается, ее отец не останется без наказания. Как и многие другие, на ком лежит

ответственность за строительство судна. И возмездие вовсе не будет несправедливым. За лесть, окружающую меня. Разве я искал ее? Требова! Ждал?»

Карета катила все дальше и дальше.

«И вот я направляюсь на верфь, чтобы услышать льстивое признание из уст юной женщины . . .»

Как нелепо все обернулось! Он ведь больше всего на свете желал, чтобы Кристина ответила ему согласием по доброй воле. Он хотел быть великодушным, насколько это позволено человеку в сане государя. Этот день мог стать свидетелем торжества великодушия и любви, а станет днем неприкрытой сделки. И самое страшное, он уже знал наперед, — он примет эту сделку. Виной всему — глаза Кристины, из-за которых он забывал все на свете. С горькой насмешкой он утешал себя:

«Сватовство во дворце моего батюшки всегда прикрывало выгодную сделку, сделкой будет и моя женитьба. Во всяком случае, со стороны невесты».

Карл-Густав ступил в мастерскую, и все произошло так, как он предполагал.

Кристина стояла среди верстаков, настилов с молотками и долотами, припорошенными пылью. На лице ее была улыбка. Кристина попросила прощения у государя за то, что заставила ждать ответа. Ей следовало быть разумней и сразу с радостью принять оказанную ей высокую честь.

Кристина продолжала говорить все сбивчивей. Карл-Густав смотрел на нее ледяным, изучающим взглядом, словно перед ним стояла незнакомка.

— Я так растерялась тогда, — оправдывалась Кристина, подыскивая слова. — Нет, ей-богу, я поступила, как глупая девчонка, недостойная государевой руки.

Карлу-Густаву казалось, что она только и знает что говорит, у него даже мелькнула мысль: неужто я мечтал весь век прожить с этой несмолкающей женщиной?

Кристина говорила еще что-то, а потом вдруг, осекшись, спросила:

— Моему отцу грозит гибель?

Это было самое нелепое, что она могла сделать в эту минуту, Кристина и сама тотчас опомнилась и поспешила пояснить:

— Моя мать в отчаянии, это она велела мне спросить . . .

Карл-Густав шевельнулся и резко проговорил, вперяя взор в молодую женщину:

— Отвечай мне, как перед богом, Кристина, — ты даешь мне свою руку по доброй воле или ради спасения отца?

Кристина помолчала. Все, что передумала она после встречи с Эгиллом, глядяваясь бессонными глазами в ночную тьму, вдруг представилось ей неправдой, выдумкой. «Он не поверит, он мне не поверит», — растерянно думала Кристина, понимая — ей уже не избавиться от мысли, что Карл-Густав в этот миг видит в ней лгунью. Но лгать она не собралась, она взяла себя в руки и сказала:

— Я решилась еще прежде того, как произошло это ужасное бедствие.

«Она лжет, — решил государь. — Женщины лгут даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. О господи! Что ж — пусть все идет своим чередом! Для меня большее несчастье отказаться от Кристины, чем не доверять ей».

— Я счастлив. Я бесконечно счастлив, — сказал Карл-Густав, но голос его нимало не потеплел. Он учтиво поцеловал Кристине руку и деловито

продолжал: — О дне свадьбы мы объявим позднее. Негоже нам соединить сейчас руки, когда во всей стране люди только и думают, что о злосчастном корабле.

И он велел позвать старого мастера, отца Кристины.

Когда верный человек рассказал первому государственному министру о том, что произошло утром на судовой палубе, министр обрадовался. «А он стоек, наш молодой государь. С ним можно разговаривать по-мужски. Он не боится взять в жены девушку, отцу которой любой может поставить в вину гибель корабля».

В тот же день первый государственный министр попросил аудиенции у государя.

* * *

— Смею заметить, что все милостивейший государь принимает слишком близко к сердцу это неприятное, нежданное происшествие, — сказал первый министр. — Надо считаться с тем, что в государстве постоянно свершается что-либо непредвиденное и неприятное. Увы, так оно и должно быть, ведь и человеческая жизнь подвержена лишениям. Скажем, выпустит крестьянин стадо в горы, день стоит ясный и тихий, а меж тем одна из коров, да еще самая удоинная, сорвется со скалы — и нет ее.

— Корова! Что значит одна корова!

— Для крестьянина это, быть может, еще большее несчастье, чем для государства потеря одного корабля.

— Не в корабле дело. На корабле были люди, они заплатили за наши ошибки своей жизнью или же мучениями и страхом.

— И у крестьянской скотины была жизнь . . .

— Мы избегаем назвать самое главное. Самое страшное несчастье, которое может повлечь за собой немало новых бед. Это малодушие, из которого вырастает трусость. Многие были уверены, что может случиться беда, однако не пытались отвратить ее.

— Можно, конечно, рассуждать и так.

— А как же еще!

— Малодушие . . .

— Можно назвать его еще угодливостью. Угодливость ничем не лучше малодушия.

— Угодливость . . . Гм! — Первый государственный министр замялся в поисках слова. — Я в данном случае предпочел бы сказать: почтительность.

— Называйте как хотите, но в конце концов все обернулось преступлением.

— Гм! . . . И все же я так не сказал бы. Малодушие действительно при некоторых обстоятельствах является пороком, но почтительность? . . . Почитание своего государя я бы назвал главным достоинством подданного. Где нет почтительности, там нет покорности, а без покорности не может быть и власти. Ни одному государю без нее не обойтись. Никак не обойтись.

— Разве это столь дерзостно — выразить хотя бы сомнение на совете по важнейшему делу?

— Я не сказал бы, что все тогда смолчали . . . И все же! . . . Выражение сомнения, пусть даже самое учтивое и скромное, подобно легкой трещине в глиняном сосуде — звук уже не имеет той чистоты.

Карл-Густав не стал спорить, и первый государственный министр, осмелев, продолжал:

— Вы еще так молоды! С годами вам предстоит немало более тяжелых испытаний, когда хорошо задуманное обернется во зло тысячам людей. Так оно и должно быть, ведь никто не защищен от ошибок и просчетов, но вы уже будете знать главное: что бы ни случилось — это еще не конец света. Лишние разговоры о бедствиях ни к чему доброму не ведут. Надо жить дальше, сохраняя радость и бодрость духа, как и повелел господь человеку — вести дни свои согласно его мудрому промыслу.

Карл-Густав по-прежнему ничего не возразил, и многоопытный первый министр продолжал:

— Я говорил уже, что на этот раз самое дельное — примерно наказать капитана, который не сумел управиться с кораблем. Отнимите у него права судовождения — чтобы он не смел править даже лодкой, в которой сидит его жена. Возможно, заслуживает наказания и старый мастер, впрочем . . . об этом еще стоит подумать. Если бы государь доверился мне, я составил бы список виновных. В вашей воле, разумеется, просмотреть его и вычеркнуть некоторые имена, а иные внести своей рукой; верьте мне — это единственный разумный способ решения дела. Если вы пожелаете быть милосердным, можете положить самые мягкие наказания. А можете и проявить суровость. В своем указе вы, к примеру, могли бы написать: такой-то и такой-то заслуживает даже смертной казни, однако государь в милосердии своем смягчает меру наказания. Тогда каждый из ваших подданных увидит, что вас отличает зоркий глаз, справедливость и безграничное милосердие. Я убежден, что подданные сумеют это оценить и ваши достоинства высоко поднимутся в их глазах.

Первый государственный министр говорил еще долго. Он припоминал разные трудные дела, которые приходилось разрешать отцу высочайшего повелителя. Но вот государь прервал его и, не пряча издевки, спросил:

— Когда вы сможете представить свой список?

Первый министр, бегло взглянув на государя, съезжился от тайного страха: не слишком ли он был откровенен? В глазах Карла-Густава вспыхивали презрительные огоньки; он ждал ответа от своего министра.

Первый государственный министр собрался с духом и ответил:

— Завтра поутру, когда ваше величество соблаговолит пройти к себе в кабинет, список будет ждать на столе.

* * *

Так и было исполнено, и первый государственный министр наконец-то обрел уверенность, что сумеет также в дальнейшем быть полезен молодому государю, а значит, и всей стране. Но жене он об этом даже не заикнулся, как не сказал ей и о том, что составил некий список.

Тем временем до дворца дошло известие, что какая-то молодая женщина бродит по селениям и рассказывает, будто король погубил ее мужа. Король велел построить большой корабль, чтобы утопить ее мужа вместе с другими моряками, хотя прежде обещал на том корабле нападать на дальние страны и убивать не своих, а чужеземцев. Женщину бросили в тюрьму, но прежде чем решила ее судьба, о ней прослышал государь.

— Как зовут эту женщину? — спросил он.

— Криста.

— Криста?!

— Да, ее имя Криста. Кристина. Это подтверждают люди, которые знают ее.

Подумав немного, государь сказал:

— Я хочу ее видеть.

— А нужно ли? — спросил первый государственный министр. — Это выжившее из ума создание. Женщина понесет наказание, какого заслуживает.

— Я хочу по крайней мере взглянуть на нее.

В тюремное подземелье государь не спускался, он глядел на заточенную в нем женщину через решетку. Тюремщик поднял пылающий факел, и государь увидел лицо узницы. Государь долго молча смотрел на нее, затем медленно побрел по лестнице вверх. У себя в кабинете он сел за стол, начал рыться в бумагах, потом что-то искал в ящиках стола и проговорил, не поднимая глаз:

— Выпустите эту женщину. И что бы она впредь ни говорила мне в поношение, никто пусть не смеет ни прерывать ее речей, ни заточать ее в тюрьму, ни подвергать иному наказанию.

* * *

Карл-Густав стоял в тронном зале. С ним была его жена, королева Кристина, и придворные. Государь смотрел на отцовский портрет на стене, и придворные уже гадали, что портрет, вероятно, снимут и перенесут в другое помещение, о чем уже немало судачили тайком.

Старый король взирал с полотна с той же нескрываемой насмешкой и тем же сознанием своей власти, что и все эти годы. В зале находился сам художник, немолодой уже человек, и ему почему-то казалось, что сейчас решится его дальнейшая судьба. Он не стыдился своей картины, лишь думал: «Может, мне следовало в те поры быть поосторожнее. Может быть. Хотя известно, что лесть да осторожность — смерть для художника». Стоя в толпе, живописец смотрел на молодого государя и с изумлением впервые обнаружил, сколь велико сходство между сыном и отцом.

Тем временем государь повернулся к собравшимся в тронном зале и сказал:

— Эту картину написал великий художник. Мудрый и зоркий. Велик и государь, глядящий на нас с портрета. Мудрый и зоркий. Художнику и у меня не будет недостатка в заказах. Прежде всего он напишет меня вместе с моей женой, вашей королевой Кристиной, которая не только прекрасна, но также умна и благородна. Портрет моего отца навсегда останется на своем месте. С почтением взирая на него, мои подданные еще более укрепятся в верности мне, что пойдет на благо всему нашему государству.

Министры и другие вельможи, как им положено, склонили головы в знак согласия.

Король Карл-Густав подал руку королеве Кристине, и они покинули тронный зал.

«А ведь она несчастна, молодая королева, — подумал художник, — ей холодно».

Первый государственный министр время от времени наблюдал, каким получается на картине король Карл-Густав, и оставался доволен: с полотна смотрел молодой человек, статный и полный сил, а рядом стояла очаровательная в своей красе, счастливая женщина.

— Этот художник очень талантлив — а особенно потому, что умеет всю жизнь учиться, — сказал перед сном жене первый министр, но

это была не бог весть какая важная новость, и жена не поспешила с нею к жене второго министра. Она лишь подумала: «Агата точно сорока, тотчас все разнесет на хвосте».

Криста, жена Арне, по-прежнему скиталась по дорогам и каждому встречному сообщала, что правитель их страны — преступник. Люди, не дослушав, начинали осторожно озираться и торопились исчезнуть. Только малые дети в простоте душевной, щебеча, таскали ей куски хлеба, взятые из дому тайком, а то и потихоньку сунутые матерью.

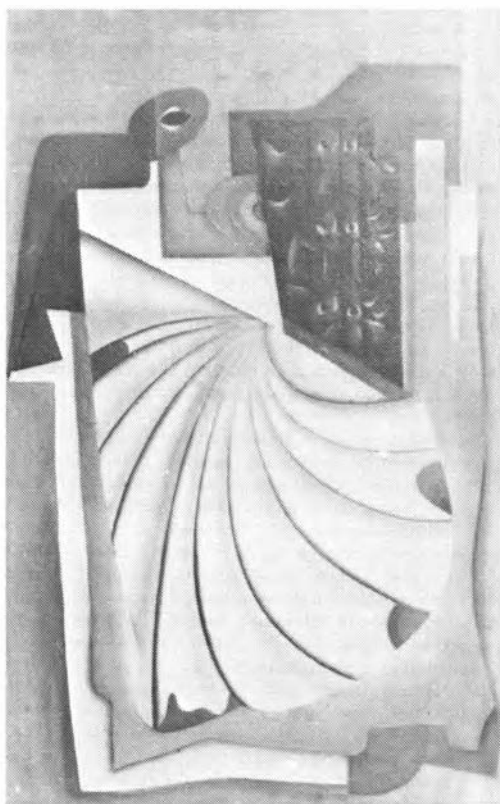
Шло время, и однажды второй государственный министр сказал первому государственному министру:

— Не дело, что та женщина все еще бродит по дорогам.

— И я подумывал о том же, — ответил первый министр. — Но великий государь приказал не трогать ее — ни задерживать, ни наказывать.

— Боже упаси! Кто же посмеет хотя бы пальцем тронуть ее! Но ведь в любой день она может наткнуться на медведя или стать добычей стаи волков. А то и просто невзначай свалиться с обрыва. Мало ли что может с нею случиться.

— С любым человеком может что-то случиться, — согласился первый государственный министр. — Разве не бывало? Всякое бывало.



Анатолий Лебедев.
Композиция

СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ...

ОКТАБРЬСКИЙ ДОГОВОР

Согласно советско-германскому договору от 23 августа 1939 года (1-я статья тайного протокола) Латвия включалась в сферу влияния интересов Советского Союза. Практическим осуществлением этого перехода в сферу влияния (интересов) СССР явился советско-латвийский пакт о взаимной помощи от 5 октября 1939 года. 1 октября 1939 года, убедившись, что Англия фактически не способна каким-либо способом гарантировать суверенитет Латвии (К. Ульманнс имел телефонный разговор с Лондоном), латвийское правительство, после совещания, проходившего весь день, решило направить в Москву министра иностранных дел В. Мунтерса и директора департамента договоров министерства иностранных дел А. Кампе. Переговоры в Москве начались 2 октября и закончились 5 октября подписанием договора о взаимной помощи.

Сталинское руководство вело переговоры с позиции силы, выдвигая явно завышенные требования. 2 октября поздно вечером В. Мунтерс по телефону информировал К. Ульманнса, что советская сторона требует права разместить в Латвии свои войска численностью до 50 тысяч человек. Фактически В. Молотов поставил перед В. Мунтерсом ультиматум — либо принять советские предложения в течение 48 часов, либо СССР предпримет односторонние шаги, которые сочтет необходимым. В отчаянии В. Мунтерс пытался обратиться за помощью к... графу Шуленбургу, послу Германии в Москве. Шуленбург заявил ему, что

Германия должна была согласиться с требованиями Сталина, который заявил Риббентропу, что военные базы СССР в Прибалтике направлены против... Англии (!). Мунтерсу ничего не оставалось, как сдаться. Советский Союз получил право создать базы в западной части Латвии (Вентспилсе, Лиепае, Питрагсе) и разместить там контингент численностью в 25 тысяч.

Совершенно прав был один из умнейших и образованнейших политиков Латвии — Микелис Валтерс, посол в Брюсселе и личный друг К. Ульманнса, писавший президенту 20 декабря 1939 года о том, как во всем мире оценен этот договор: «... мы уже почти не суверенное государство и находимся на пути к гибели», а в письме от 20 января предупредил, что «... должно произойти чудо, которому в наше время никто не верит и русские бы удовлетворились приобретенным баз только на какое-то короткое время...».

К. Ульманнс, очевидно, надеялся, что, несмотря на подписанный пакт, существующий в Латвии режим удастся сохранить. Хотя и внутренней опасности режиму в конце 1939—начале 1940 гг. практически не существовало, на президента вдохновляюще повлияло мнение В. Мунтерса, вынесенное из переговоров со Сталиным о том, что тот рассматривает Компартию Латвии как троцкистскую организацию и заверения его латвийскому правительству о том, что договор не коснется внутреннего строя Латвии. Безусловно, и сталинские репрессии против латышских (и, конечно, не только против них) коммунистов могли воодушевлять пра-

вительство К. Ульманиса на борьбу с левыми силами Латвии. Газета шведских коммунистов «Арбетарен» 9 января 1940 года писала, что Ульманис получил гарантии своему режиму от Москвы. В подготовленном в военном министерстве Латвии в начале 1940 года тайном обзоре деятельности Компартии говорилось очень откровенно: «... наш восточный сосед, уничтожив без жалости троцкистов, бухаринцев и других вредителей и предателей, учит нас, как расправляться с врагами народа и предателями государства...» К. Ульманис, правда, оказался «плохим учеником» Сталина: ни одного человека не расстрелял, концлагерей не создал (лиепайский лагерь с мягким, а по сравнению со сталинскими, просто курортным режимом был ликвидирован весной 1935 г.), удивил в июне-июле 1940 года А. Вышинского малым числом, по мнению советского экс-прокурора и вице-премьера, политических заключенных в Латвии. К. Ульманис, реально осознавая все ограничения суверенитета Латвии, вытекающие из договора с СССР, тем не менее, выступая с речью по поводу подписания договора на совместном заседании государственного совета по народному хозяйству и культуре, заявил: «Никто извне нам другого строя не навязывает, а если найдутся у нас такие, кто так думает, мы сами дадим им должный ответ».

Латвийская сторона после подписания пакта особенно отмечала (наверное, и в целях самоуспокоения) именно этот аспект двухстороннего соглашения. К примеру, на совместном заседании советской и латвийской военных делегаций 14 октября 1939 года латвийская сторона «... особо подчеркивает раздел пакта, обеспечивающий неприкосновенность внутреннего порядка и экономического устройства Латвии». Как сообщал 21 октября 1939 года своему правительству посол Германии в Латвии У. фон Котце, советский дипломат, полпред СССР в Латвии И. Зотов в беседе с ним на вопрос, не имеется ли в договоре от 5 октября чего-либо такого, что определяло бы срок существования Латвии как независимого государства, сослался на пример внешней Монголии. Очевидно, И. Зотов этим хотел сказать, что Латвия, конечно, становится сателлитом СССР, но вопрос о ее прямой аннексии на повестке дня в данный момент не стоит.

После подписания договора латвийская сторона стремилась с наимозможной щепетильностью выполнять его, не допуская ни малейшего повода обвинить ее в нарушении пакта. Тайное предписание командующего армией генерала Беркиса и начальника штаба генерала Розенштейна от 7 ноября 1939 года обязывало командиров следить за тем, чтобы солдаты строго соблюдали правила хранения военной тайны, не разглашали никаких сведений о советских гарнизонах (отдельный протокол к договору обязывал и советских солдат не разглашать сведения о вооруженных силах Латвии). Предписание требовало, чтобы солдаты в разговорах между собой воздерживались от каких-либо оскорбительных замечаний в адрес советских солдат. Ну а во время советской агрессии против Финляндии латвийское правительство вообще готовилось к мерам, которые выглядели чуть ли не трагикомично. Как заявил 29 мая 1940 года, выступая перед старшими офицерами рижского гарнизона, министр внутренних дел К. Вейдниецс, во время советско-финской войны латвийское правительство опасалось, как бы финны не предприняли попытку высадить десант с нападением на советские базы в Лиепае и Вентспилсе. Пограничные войска Латвии, как заметил министр, уже готовились... защищать советские базы от финнов, но, к счастью, война окончилась. Ситуация, когда малочисленные (на всей границе — немногим более 1000 человек) и слабосильные пограничники Латвии защищали (!) бы советские базы, свидетельствовала только об одном — желании сделать все, чтобы договор выполнялся и ничто бы не осложнило советско-латвийские отношения.

В своих письмах К. Ульманису М. Валтерс в достаточно резкой форме осудил публичные заявления министров В. Мунтерса, А. Берзиня, К. Вейдниецса, которые распиливались, слава договору. М. Валтерс писал, что после 5 октября «... началось печальное приспособление в московском направлении, пропагандистски защищая капитуляцию 5 октября... Существует даже самообман, когда люди стараются толковать договор от 5 октября как безвредный... Разве надо говорить, сколь пагубен такой наркоз». Совершенно справедливо старейшина политической борьбы в Латвии замечал: «Договор 5 октября нельзя счи-

тать свободным договором . . . он навязан и вместе с этим — аморален . . . если не можем это сказать, будем хотя бы молчать, хотя бы не будем его хвалить».

ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

После подписания договора в официальных заявлениях Советского правительства, его полномочных представителей в Латвии советско-латвийские отношения характеризовались как очень хорошие. В. Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года и 25 марта 1940 года, отверг как вымысел разговоры о планах советизации Прибалтики и призвал к дальнейшему улучшению взаимоотношений Латвии и СССР. 22 февраля 1940 года посол Латвии в Москве Ф. Коциньш был принят заместителем наркоминдела Потемкиным, который заявил, что все вопросы советско-латвийских отношений будут разрешаться в дружественной атмосфере и исключительно на основе совместных договоренностей. 24 февраля агентство ТАСС заявило, что некоторые английские и немецкие газеты, а также французское агентство «Гавас» распространяют слухи о том, что СССР якобы готовится предъявить ультиматум Эстонии, Латвии и Литве и «затребовать новые базы». ТАСС категорически опроверг эти сообщения. 3 апреля 1940 года президент К. Ульманис с 10 до 10.50 принимал полпреда СССР в Латвии И. Зотова (6 апреля И. Зотов покидал Ригу, будучи назначен советским представителем в Финляндии). Во время аудиенции Зотов «. . . высказал благодарность за содействие, оказанное ему в его деятельности и за «школу», которую он прошел в Риге за два с половиной года своей деятельности. Еще благодарил за поддержку президента и правительства и высказал удовлетворение хорошими отношениями между обеими странами». В свою очередь, 5 апреля 1940 года, нанося прощальный визит В. Мунтерсу, Зотов «. . . высказал искреннее удовлетворение приемом у президента государства 3 апреля. Он также еще раз поблагодарил за возможность быть принятым президентом и отметил, что результаты в Москве и в военных кругах здесь и в центре восприняты с большим удовлетворением». Еще более высо-

кую оценку взаимоотношениям двух стран дал 8 мая 1940 года при вручении верительных грамот новый советский полпред В. Деревянский, заявивший, что «атмосфера взаимного доверия, установившаяся между обеими странами нашла свое выражение также и в дружеском контакте между армиями Советского Союза и Латвии».

Очень часто в нашей исторической литературе пишется о речи К. Ульманиса в Шкибе 10 февраля 1940 г., притом в ней усматриваются какие-то реальные антисоветские намерения. Официоз режима — газета «Брива земе» опубликовала речь 12 февраля под заголовком «Мир не для покоя». В своей речи Ульманис, помимо прочего, сказал: «Если настанет тяжкий миг выбора, то в среднем одному мужчине с каждого хутора придется надеть униформу . . . И знайте, что надо позаботиться по меньшей мере о двух сорочках и, соответственно, другом белье — двух полотенцах и паре добротных сапог, о носках и портянках. Начинаяе об этом думать и будьте наготове. Может настать момент, когда наша молодежь будет призвана и привлечена к иному делу, к выполнению другой задачи». Так как речь произносилась в момент кульминации советско-финской войны, то она действительно встревожила население Латвии. Волнение в некоторой мере усиливали сообщения западных газет, особенно — английских и французских, которые в это время усиленно обсуждали вопрос о возможной агрессии СССР против балтийских стран. Приезд в Ригу посла Латвии в Лондоне К. Зариня и поездка генерала К. Беркиса в Таллинн примерно в это же время усиливали тревогу. Очевидно, она оказалась неожиданной для правительства.

Командующий армией генерал К. Беркис 15 февраля спешно издал циркуляр, в котором отметил, что речь президента «. . . местами неверно понята в том смысле, что мы якобы уже находимся в преддверии осознанной войны». «Речь президента, — разъясняя далее Беркис, — была адресована главным образом сельским жителям, чтобы они в нынешнее время не только помогли бы себе, но и пришли на помощь государству в деле преодоления образовавшихся трудностей в импорте . . .». Но следует особо отметить, что в Москве эта речь была воспринята гораздо спокойнее, чем в самой Лат-

вию. В советских кругах, очевидно, прекрасно понимали, что К. Ульманис уже фактически является заложником Сталина. Сообщая В. Мунтерсу о том, какое впечатление в Москве оставила его речь (Мунтерс вскоре после К. Ульманиса выступил, успокаивая общественность), Ф. Коциньш 27 февраля писал ему, что «... Потемкин, в свою очередь, заявил, что они ее (речь Мунтерса. — А. С., М. В.) оценили очень высоко». В свою очередь, как свидетельствует служебная запись В. Мунтерса о приеме Ульманисом И. Зотова 3 апреля, «... Зотов коснулся и речи президента 10 февраля... но эту тему вскоре оставил...». Думается, что если бы Сталина эта речь действительно встревожила, или если бы он усмотрел в ней что-то, угрожающее его интересам, то вряд ли бы Зотов «эту тему» так быстро «оставил».

Конечно, было бы просто смешно представлять советско-латвийские отношения с октября 1939 по июнь 1940 года безоблачными. Размещения для Латвии очень большого советского контингента (большего, чем вся латвийская армия), конечно, рождало немало проблем, в том числе — с предоставлением территорий, помещений и т. п. Как заявил представитель Латвии на первом совместном заседании военных делегаций 14 октября 1939 г., «... вождь Советского Союза Сталин заявил (в беседе с В. Мунтерсом. — А. С., М. В.), что он ни в коем случае не хочет согнать с земли наших крестьян, равно как и наших рыбаков. Это производило бы удручающее впечатление». Однако ссылки на сказанное Сталиным не всегда помогали. Представители советского военного командования в Латвии порой выдвигали завышенные требования касательно земельных участков, зданий и т. п. Особенно показателен в этом смысле «меморандум Завьялова»: 27 марта 1940 года советский военный атташе полковник Завьялов запросил у генерала Хартманиса, с латвийской стороны отвечавшего за решение вопросов выполнения договора от 5. 10. 1939 г., предоставить дополнительно 20 земельных участков в районе Вентспилса и Лиелпаи. Латвийская сторона всегда старалась выполнить советские запросы даже тогда, когда эти требования были завышенными. Немало вопросов возникало и в связи с тем, что советская сторона настаивала на въезде в Латвию

очень большого количества персонала, обслуживающего базы. Эта проблема была поднята послом Латвии в Москве Коциньшем на приеме у В. Молотова 15 марта 1940 года. Коциньш сообщил, что 4 марта И. Зотов затребовал от латвийского правительства срочно впустить в Латвию: стройбатальон в составе 1200 (!) человек, 150 инженеров и техников и 1500 (!) вольнонаемных рабочих (среди этого персонала было немало агентов НКВД). Зотов добавил, что неизвестно, сколько еще людей понадобится в будущем.

По поручению В. Мунтерса А. Лонгинс, временно исполняющий обязанности заведующего Восточным отделом МИДа Латвии, сообщал генералу Хартманису «... о намерениях советских учреждений послать в Латвию для строительства морских баз **несколько тысяч** (подчеркнуто нами. — А. С., М. В.) рабочих и специалистов». Руководство советского военного командования в Латвии неоднократно запрашивало у латвийского правительства право въезда в страну семей офицеров и инструкторов, хотя это и не предусматривалось договором. Ясно, что эти требования свидетельствовали о том, что базы в Латвии отнюдь не были размещены на ограниченное время, а навсегда и были всего лишь началом действий по инкорпорации Латвии. Как сообщал В. Мунтерсу (2 февраля 1940 г.) генерал М. Хартманис, «несмотря на наш отказ, 14 января этого года границу нелегально переехали и прибыли в Лиелпаю 68 жен и 36 детей, в Вентспилс — 19 жен и 10 детей».

Беседа с Молотовым проходила в весьма прохладной атмосфере, и на вопрос Коциньша, кто будет из Наркоминдела решать вопросы отношений с Латвией вместо смещенного Потемкина, Молотов заявил, что им теперь будет... Деканозов (!) (зам. наркома иностранных дел, кадровый сотрудник НКВД, бывший начальник его иностранного отдела). Но особенно подчеркнем: несмотря на присутствие разного рода вопросов (мы упомянули только некоторые), Советский Союз до пресловутой ноты 16 июня 1940 года никаких обвинений в адрес Латвии о невыполнении ею взятых обязательств по договору от 5 октября не выдвигал.

Но за занавесом шло еще одно действие, о котором пока известно очень мало. Крупнейший специалист по истории Латвии, профессор из США

Э. Андерсон, в своем капитальном исследовании внешней политики Латвии пишет, что в конце 1939 года доверенное лицо Сталина Г. Маленков направил в балтийские государства высокопоставленного сотрудника госбезопасности И. Серова с задачей инсценировать акты саботажа и нападения на советских солдат, с тем чтобы создать повод для оккупации Латвии, Эстонии, Литвы. Версию профессора Э. Андерсона нельзя проигнорировать, и, конечно, не только потому, что он — маститый ученый. Прочитаем тайный циркуляр командующего латвийской армией К. Беркиса от 20 мая 1940 года: «Некоторые круги в лояльных отношениях, которые существуют между нами и Советским Союзом, видят преграду для осуществления своих целей в нашей стране, ставят целью своей деятельности ухудшить и расстроить эти отношения. Чтобы доказать, что отношение Латвии к Советскому Союзу не лояльно, что в народе культивируется ненависть к Советскому Союзу и его армии, известные круги начали собирать материалы и сведения о всех случаях, когда какой-либо государственный служащий, солдат, айзсарг, общественный работник или рядовой гражданин в разговоре с кем-либо в открытую отрицательно высказывается о Советском Союзе и его воинских частях. В этой связи поручаю всем должностным лицам и отдельным военнослужащим в официальных речах, а также в частных контактах с другими лицами соблюдать повышенную осторожность и выдержку, чтобы предотвратить возможные провокации». Кого же имел в виду К. Беркис, говоря об «известных кругах»? Подразумевались некоторые члены левых подпольных организаций, и, надо сказать, что основания для этого у него были. В апреле 1940 года начальник политической полиции Латвии Я. Фридрихсон сообщал в районные отделения: «В управление поступила информация, что в кругах левых элементов обсуждается вопрос об организации запрещенных демонстраций и беспорядков 1 мая этого года. К тому же антигосударственные выступления задумано провести в основном в тех районах, где размещены советские гарнизоны, как и вблизи границы с Советской Россией, в надежде на помощь Красной Армии и ее гарнизонов». Вполне возможно, что ценную информацию о том, как Латвия «нарушает» договор и о том, как

некто Шалм (в июле 1940 г. — назначен начальником политической полиции (!) в Елгаве) доставлял этот материал в советское посольство, мог бы дать ныне здравствующий А. Новикс, в то время — член 3-го района КП Латвии (после событий июня 1940 года — с 20-х чисел июля — министр внутренних дел Латвии).

Следует подчеркнуть, что полиция располагала сведениями о том, что левые организации извне получили распоряжение собирать материал о якобы имеющихся месте со стороны Латвии нарушениях договора (на самом деле никаких нарушений не было). В этой связи весьма любопытно обратиться к материалам областной конференции Леяскурземской организации Компартии Латвии, которая состоялась 17 декабря 1939 года. На конференции говорилось, что правительство К. Ульманиса не хочет выполнять договор от 5 октября. И далее: «Если **собранный материал** (подчеркнуто нами. — А. С., М. В.) покажет, что правительство Латвии действительно действует против создания хороших отношений с СССР, тогда Советский Союз добьется свержения нынешнего правительства. Каким именно образом это произойдет — еще неизвестно, но передачу государственной власти в руки других постараются провести без кровопролития. Возможно, что СССР предпримет ультимативные дипломатические шаги, чтобы добиться отставки нынешнего правительства. При этом в Латвии установят демократический строй, но не советский, создание советского строя будет оставлено на более поздний срок». Интересные рассуждения. В них — в декабре 1939 (!) года — уже весь сценарий событий 1940 г.

УЛЬТИМАТУМ

Вопрос о том, будет ли найден повод для осуществления дальнейших шагов по отношению к Прибалтийским странам, в конце концов был вторичным. Есть повод — хорошо, нет — можно и без него.

В мае 1940 года, когда западные страны были заняты войной во Франции, сталинское правительство СССР запустило машину. События начали развиваться с Литвы. Было создано т. н. дело красноармейцев Писарева и Шморгонцева. Литовское правительство было обвинено в их злостном

похищении. 30 мая латвийская газета «Яунакас зиняс» на первой полосе опубликовала полный текст ноты В. Молотова литовскому правительству, содержащий необоснованно грубые упреки и открытую угрозу. И практически в тот же день, точнее — в 0.00 часов 31 мая на территорию советской базы в Лиепе из увольнения не вернулись лейтенант Бобков и техник второго ранга Павлов. По просьбе советского командования полиция в Лиепе с особой тщательностью начала поиски «пропавших». Но уже к 10.00 31 мая от советского командования поступило сообщение, что «пропавшие» нашлись. К отсутствию двух молодых мужчин ночью в казармах, если учесть, что в Лиепе имелись тогда заведения далеко не академического толка, в обычной обстановке не следовало бы относиться уж очень серьезно. Притом это были весьма частые случаи. На встрече с Молотовым 15 марта посол Латвии «... подробно остановился... на распущенности моряков».

Правительство же Латвии, имея горький опыт Литвы, расценило случившееся в Лиепе иначе. 1 июня 1940 года генерал Беркис поручил генералу Хартаманису «... вступить в переговоры о том, как впредь избежать таких случаев, которые могут вызвать конфликт». Беркис прекрасно понимал, что такие бытовые «исчезновения» советских военнослужащих могут послужить поводом для ультимативных требований. 5 июня 1940 года в Лиепе совместно были рассмотрены меры, необходимые для ограничения продажи советским военнослужащим алкогольных напитков и посещения ими увеселительных мест. При этом никаких упреков в адрес латвийского правительства от советского командования не последовало. В конце мая — начале июня правительство Латвии предприняло просто отчаянные попытки не допустить какого-нибудь, даже пустякового повода для предъявления обвинений, подобных тем, что раздалась в адрес Литвы. 31 мая министр внутренних дел К. Вейдниекас приказал: «... Всем чиновникам запрещено как между собой, так и публично обсуждать международное положение, отношения между государствами и стратегическое положение, а особенно запрещено выражать какие бы то ни было симпатии или антипатии по отношению к отдельным странам или их руководителям. Виновные будут осуждены за

распространение политических слухов, наносящих вред нашим отношениям с зарубежными странами...». С 30 мая по 4 июня административно были наказаны 32 человека «за распространение политических слухов», хотя практически они только позволили себе у газетных витрин или в ресторанах вслух высказать свои предположения о том, как будет идти военная кампания во Франции, что ожидается в будущем. Никто не сказал ничего плохого о СССР.

Но эти меры уже не имели никакого значения. Все было предрешиено. 16 июня в 13 часов латвийскому правительству был вручен официальный текст советской ультимативной ноты, содержащей обвинения в адрес латвийского правительства в нарушении договора и требовавшей образования в Латвии нового правительства, допуска значительного контингента советских войск, которые должны были занять важнейшие стратегические центры Латвии.

Таким был ход событий. Но мог он быть и иным, об этом и пишет в своем письме Н. Крумин. «Вопросы истории дорогой моему сердцу Латвии, земли моих предков, меня глубоко волнуют. Естественно, и вопросы, связанные с установлением Советской власти в 1940 году. Я могу по этому поводу сообщить со слов моего покойного отца небезынтересные подробности, которые в дискуссиях никем и никогда не поднимались. Тем более, что люди, которые могли их знать, давно ушли от нас.

Мой отец, Крумин Николай Петрович, член партии с 1906 года, высланный в начале первой мировой войны царской охранкой в Предуралье, после революции — председатель губчека в Симбирске и Брянске, член ЦКК, дипломат и член Верховного Суда СССР, ушел на пенсию в конце 1936 года, чтобы не быть рядом с Вышинским и Ульрихом. Хотя он и находился на пенсии, все же в номенклатуре ЦК оставался. И вот летом 1940 года вместе с несколькими старыми большевиками — московскими латышами, уцелевшими при погроме 1937—1938 годов, его вызвали в ЦК к небезызвестному Л. З. Мехлису (зам. наркома обороны, армейский комиссар 1-го ранга. — А. С., М. В.). Мехлис объявил, что правительству будет предьявлен ультиматум. Если Ульманис согласится передать власть прог-

рессивным кругам, то будет сформировано правительство из рижских латышей, если же ответит отказом, то будьте готовы ехать в Резекне. Там после занятия города Красной Армией будет создано временное революционное правительство из московских латышей. Таково распоряжение Сталина. Была произведена и прикидка этого правительства.

Таким образом, Сталин ставил вопрос о прямой оккупации Латвии и о создании марионеточного правительства по образу правительства О. В. Куусинена в Териоки во время войны с Финляндией зимой 1939—1940 годов. Мне кажется, что такая постановка вопроса делает бессмысленными дискуссии о наличии или отсутствии революционной ситуации. За подлинность рассказа отца я, Крумин Николай Николаевич, член КПСС с 1949 года, ныне пенсионер, ручаюсь.

Москва, пр. Мира, д. 110/2, кв. 126. Крумин Н. Н.»

Версия о так называемом «московском правительстве» наподобие «правительства» Куусинена заслуживает внимания и изучения.

Вскоре после подписания договора 5 октября 1939 года слухи о возможном формировании «московского правительства» появились в левых кругах Латвии. Политическая полиция сообщила, что 30 января 1940 года на предприятии «Алдарис» «... рабочие, между прочим, говорят, что в Москве создано новое латвийское правительство». В другом сообщении говорилось, что 14 февраля 1940 года на заводе «Латфин» («Латвияс финиерс») члены местной партиячки говорили, что «в мае будет восстание... на заводах Риги будут собираться подписи под прошением рабочих, в котором будет указано на их тяжелое положение и будет высказана просьба к СССР вмешаться военной силой. Это прошение будет передано советскому посольству, после чего последует вмешательство русских и введение советской власти в Латвии». В начале мая полиция еще раз сообщала, что на заводе «Латфин» члены нелегальной организации (в том числе — и с других предприятий) обсуждают вопрос о вооруженном восстании «... в случае восстания Красная Армия придет на помощь». Совершенно ясно, что такие разговоры были широко распространены, ведь даже шведская газета «Socialdemokraten» 1 января 1940 года помести-

ла статью под названием «В Латвии готовится русский путч», в которой говорилось: «Существует опасение, что коммунисты попытаются организовать путч против Ульманиса и потом искать помощи Советского Союза».

Практически неосвещенными в нашей литературе остались события, происшедшие в ночь с 14 на 15 июня на границе Латвии с СССР в районе Абрене. Там было совершено нападение на латвийскую пограничную заставу Масленки и на пограничников вблизи ее. Погибли три пограничника, одна женщина (Хермина Пурия), смертельно ранен ее сын, ранена еще одна женщина, 11 пограничников и 32 гражданских лица были увезены на территорию СССР (в Остров). Цель этой провокации — искусственное обострение советско-латвийских отношений.

Латвийское правительство проявило больше чем сдержанность. Но — 8-й пехотный полк латгальской дивизии латвийской армии находился в это время в летних лагерях в Литене. Командир объединенной пулеметной роты лейтенант Прикулис, узнав о событиях на границе, отдал приказ занять позиции для обороны лагеря Литене с воздуха. Прикулис, а также сержант Томсонс высказались, что латвийская армия должна сражаться против любого агрессора. Совершенно нормальная реакция военнослужащих, желавших защитить независимость своей страны. Но ведь был нужен повод, хотя бы — постскриптум. И — в одной из самых первых листовок, изданных КПЛ после событий 17 июня, говорилось, что офицеры и инструкторы латвийской армии якобы порочили Красную Армию и призывали солдат к ее изгнанию. Как один из фактов приводился пример с офицером Прикулисом и сержантом Томсонсом. «Таких фактов можно назвать очень много», — заявлялось в листовке (правда, ни один не был назван). Командование латгальской дивизии, как только вышла эта листовка, отдало приказ расследовать обособанность сказанного в ней. Обвинения в адрес Прикулиса и Томсонса не подтвердились. Данный случай очень показателен с точки зрения поиска повода или — оправдания ультимативной ноты (т. е. Прикулис и Томсонс — лейтенант и сержант — «подрывали» пакт и для пресечения их «преступной деятельности» необходимо было сместить правительство К. Ульманиса, ввести несколько дивизий, занять все

стратегические точки в Латвии, иначе нельзя было «нейтрализовать» Прикулиса и Томсонса). Заметим еще, что действия командования латгальской дивизии свидетельствовали о том, что, несмотря на уже прошедшие события, в корне изменившие положение в Латвии, латвийская сторона старалась обезопасить себя от всего, что могло бы осложнить отношения с СССР.

Упомянувшееся письмо тов. Крумина очень интересно, так как дает возможность представить один из вариантов дальнейшего хода событий, которых у Сталина, можно предположить, было несколько. К примеру, на тот случай, если бы правительство Латвии не приняло ультиматум, отдало армии приказ сопротивляться и т. п. Думается, что «московское правительство» тоже могло появиться на сцене как резервный вариант, хотя на самом деле советским дипломатам и разведчикам М. Ветрову¹ и И. Чичаеву удалось еще до 16 июня, особенно с осени 1939 года, выйти в Латвии на некоторое число людей (главным образом группировавшихся вокруг газеты «Яунакас зиняс», в том числе и на В. Лациса),

готовых сотрудничать в случае необходимости формирования нового правительства.

ВСТУПЛЕНИЕ

Для встречи советских войск была затребована латвийская военная миссия, которой было предписано 17 июня к 9.00 явиться на станцию Бигосово. Председателем комиссии был назначен начальник оперативного отдела штаба полковник Удентиньш (члены — офицеры Упитис, Карус, Кримулдэнс, Велд্রে). В двух легковых машинах они выехали к указанному месту. В Крустпилсе делегация получила телеграмму от штаба армии, в которой извещалось, что советская сторона меняет место встречи на станцию Ионишки, в совершенно другом направлении, в Литве. Официальные переговоры проходили в Ионишки с 9.40 до почти 13.00. В них участвовали с советской стороны генерал-полковник Павлов, советские офицеры. Павлов заявил, что необходимо расширить военные базы на территории Латвии. Размещенные на базах войска якобы не будут вмешиваться во внутренние дела Латвии. Как вспоминал в ноябре 1972 года капитан Кримулдэнс, «... на латвийской карте генерал-полковник Павлов красным карандашом обвел круги и эллипсы, обозначил районы размещения советских частей. Полковник Удентиньш и Упитис старались эти районы уменьшить, указывая, что там уже находятся наши части, что нет помещения для расквартировки и т. п. Кое в чем Павлов уступил... Во время переговоров поступило сообщение об аварии одного советского самолета. Генерал-полковник Павлов иронично сказал: «Это, наверное, вас обрадует, потерпел аварию самолет, который имел приказ, в случае надобности, сбросить бомбы на дворец вашего президента». Павлов заявил, что латвийская делегация должна будет находиться в Ионишки до тех пор, пока советские войска не достигнут намеченных целей, то есть она будет являться своего рода заложником. Примерно в 15.00 Павлов заявил, что советские части поставленной цели достигли и латвийская делегация может вернуться домой. Практического значения подписанные документы о размещении советских сухопутных войск в 9 районах не имели.

Советские войска заняли все стратегические центры страны (как и было

¹ С февраля 1937 года М. Ветров являлся вторым секретарем [позже — первым] советского посольства в Риге. Должность второго секретаря считалась «бронированной» за разведкой. До 1924 года она была закреплена за военной разведкой. В начале 20-х годов советской разведке удалось, к примеру, за 25 000 рублей заполнить протоколы важной Варшавской [март 1922 года] конференции. После ряда неудач эта должность была перенята ГПУ — ОГПУ. В середине 20-х гг. [с 6 июня 1925 г. по 20 февраля 1927 г.] известным представителем ГПУ в посольстве был И. Н. Красовский. Крупным разведцентром являлось советское торгпредство в Риге [в нем порой работало около 300 (!) человек, хотя объем торговли отнюдь не был большим]. Нет оснований недооценивать способности Ветрова и Чичаева. Это были профессионалы. Их работе способствовало и то смещение, которое после советско-германских договоров и 5 октября 1939 г. появилось у некоторых латвийских политиков. Наверное, не без греха был и военный министр, алкоголик и картежник Я. Балодис. 15 ноября 1939 г. в Риге появилась отпечатанная на машинке листовка «Народу Латвии!», в которой открыто заявлялось, что генерал Балодис, имея неоднократные встречи с советскими представителями в ресторанах гостиницы «Рим», совершил национальное предательство.

сказано в ноте), в Риге — все стратегические военные объекты, магистрали, площади, в городе появился советский военный комендант. 18 июня в 11.40 на Даугаве советский эсминец «Минск» бросил якорь напротив президентского дворца. Таким образом, речь, конечно, шла не просто об укреплении советских баз, находившихся в Курземе.

Что же происходило в Риге 17—19 июня? О событиях на привокзальной площади написано уже очень много. Не будем к ним возвращаться. Нет оснований ни преувеличивать толпы на площади (которая, кстати, тогда была меньше, чем сейчас, она могла вместить от силы 1500—2000 человек), ни считать их адекватными представителями большинства жителей Риги. Значительный удельный вес еврейской публики полностью объясним: в условиях гибели Франции в июне 1940 года резко возросла тревога, не нападет ли Гитлер в будущем на Прибалтику. В Советской Армии видели защиту, конечно, не имея достаточной информации о зверствах сталинщины. После событий в Риге и Даугавпилсе 17 июня в Латвии наметилось появление антисемитских настроений. «Циня» 26 июня в заметке «Дни террора в Даугавпилсе», описывая события в городе 18—19 июня, когда полиция полностью контролировала ситуацию, писала: «Виновниками демонстрации (17 июня. — А. С., М. В.) старались изобразить евреев, и их особенно терроризировали». В заметке «Мы предупреждаем» (то же — в номере от 26 июня) «Циня» сообщала: «... отдельные прихвостни реакции все еще стараются задевать представителями других национальностей, особенно — евреев». 2 июля 1940 года «Циня» на первой полосе поместила статью, в которой отметила, что «... начали уже появляться в спешке сфабрикованные листовки с антисемитскими лозунгами». 2 июля на Секретариате ЦК КПЛ было отмечено: «наблюдается антисемитизм. Усилить разъяснительную работу по этому вопросу».

В то же время еврейская община в Латвии, особенно в своей наиболее квалифицированной части, понесла очень тяжелые потери — во время депортаций 14—15 июня было депортировано примерно 5000 евреев — среди них крупнейший ученый-юрист, 73-летний профессор П. Минц — специалист европейского уровня (скончался в лагере в Тайшете в 1943 году), известные предприниматели и торговцы М. Дубин

(бывший депутат латвийского сейма), Г. Гец, Ш. Бер, ювелир Г. Каган, журналист Г. Морсовиц и учитель И. Браун, бывший депутат всех четырех сеймов раввин М. Нурок, руководители «Бунда» Н. Майзель, И. Рабинович и многие, многие другие.

Значительное участие беднейших слоев русских тоже понятно — отразились прорусские настроения (даже не столько просоветские). А что же происходило на заводах Риги? Должны подчеркнуть: 17—19 июня на всех крупнейших заводах города («Вайрогс», ВЭФ, «Эренпрейс», «Фелдхунс», «Квадратс», цементный завод Шмита, завод стекла в Ильгюциемсе, «Ригас аудумс», «Юглас мануфактура», «Латвияс коввилна» и др.) практически перерывов в работе и политических выступлений не было. Рабочие в полном составе явились на работу. На некоторых небольших предприятиях произошли незначительные волнения. 17 июня после обеда 6 рабочих на предприятии а/о «Бекона экспортс» (занято приблизительно около 100 рабочих) призывали прекратить работу. Результатов эти призывы не имели. На заводе «Латвелло» трое рабочих — Шмушкевич, Вольский (нансенист — то есть бывший эмигрант из России) и Сироткин агитировали за прекращение работы, которая была прервана на один час раньше. 18 июня в 8.30 на лесопилке а/о «Латвияс кокс» (ул. Мелдру, 3) трое рабочих — А. Кадикис, Я. Мелналкснис и А. Паеманис призывали рабочих двинуться в центр Риги с антиправительственными лозунгами. Особого влияния на рабочих их призывы не имели. В вечернюю смену рабочие явились на работу в полном составе. 18—20 июня в Риге полиция полностью контролировала ситуацию¹.

¹ 20 июня, буквально накануне начала работы нового правительства, министр внутренних дел К. Вейдникс принял весьма интересное решение: освободить 34 политических заключенных из Рижской центральной тюрьмы, среди них — четырех руководителей КПЛ — П. Курлиса, К. Гайлиса, А. Нюржу, А. Яблонского. Любопытное решение. Освобождается провокатор П. Курлис, очевидно у Вейдникса был примерно такой расчет — пусть свои люди будут на свободе, неизвестно, что еще произойдет в ближайшие дни, возможно, они могут пригодиться. Но крупных провокаторов в КПЛ ведь было по крайней мере трое [об этом писал в своих воспоминаниях Я. Капиберзин]. Так кто же еще двое!

Сложней и неожиданней развивались события в Лиепае 19—20 июня.

Ознакомление с неиспользованными ранее архивными материалами заставляет пересмотреть традиционный взгляд на эти события. 19 июня, примерно в 15.00 рабочие завода «Тосмаре» (к ним присоединились рабочие и с других заводов) двинулись в сторону центра города, к советскому консульству, чтобы выразить свое удовлетворение введением советских войск в Латвию. В толпе численностью примерно 500 человек выкрикивались лозунги «Долой правительство! Долой Ульманиса!» Местные власти — исполняющий обязанности начальника лиепайского гарнизона полковник-лейтенант Хасманис, префект Я. Эвертс, комендант города Я. Тумшовиц имели в своем распоряжении достаточно сил, чтобы не допустить беспорядков, контролировать события. 3 тяжелые автомашины со 100 солдатами, как и полицейские силы были направлены в район шестия толпы. Однако, когда Хасманис сообщил заместителю командира советской военно-морской базы в Лиепае, капитану II ранга Клевенскому о том, что демонстранты направляются к советскому консульству, от Клевенского немедленно последовало категорическое требование не применять оружие против толпы. Примерно в 19.00 того же дня Хасманис получил от советского командования сообщение, что советские солдаты возьмут под свой контроль все мосты в Лиепае. В тот же вечер толпа начала вновь собираться в центре города, выбила окна в городской управе, а примерно в 20.00 советский генерал-майор Комиссаров вновь потребовал, чтобы власти в Лиепае не применяли оружия против бесчинствующей толпы. В ночь на 20 июня (около 2.00) Хасманис все же принял решение силой прекратить беспорядки, сообщив об этом в штаб Военного министра, командиру курземской дивизии и советскому военному командованию. От этих инстанций Хасманис получил самые противоречивые приказы. Утром, около 8.00, поступила телеграмма от генерала Бука, командира курземской дивизии, требующего предпринять все усилия, чтобы прекратить беспорядки. Однако примерно в 9.00 из Риги, из штаба армии, поступила телеграмма, извещавшая, что президент К. Ульманис и командир армии генерал У. Беркис категорически против кровопроли-

тия и запрещают применять оружие. Неизвестно, какими соображениями руководствовался президент, принимая столь неадекватное решение, было ли оно вызвано давлением А. Вышинского или сам К. Ульманис, потеряв чувство реальности, надеялся на более спокойный верхушечный переход власти к новому кабинету, сохраняя надежды на политическое выживание, «сожитительство» с Вышинским. В Лиепае же Хасманис, связавшись с советским командованием, уже в который раз получил требование не применять оружие. Действие латвийских властей в Лиепае полностью блокировалось. Между 13.00 и 14.00 20 июня в штаб Хасманиса прибыл советский полковник Туговеров, с ним еще двое офицеров, которые контролировали все действия Хасманиса. Как сообщил 23 июня комендант Лиепаи Тумшовиц, создавалось впечатление, что Хасманис фактически находится под арестом. Явившись в штаб Хасманиса (в 14.00), генерал Комиссаров начал шантажировать начальника гарнизона, заявляя, что вся ответственность за возможное кровопролитие ляжет на латвийскую сторону. Комиссаров также заявил, что на мостах Лиепаи обнаружена взрывчатка. Это было полнейшей выдумкой, так как все мосты в городе уже с вечера 19 июня находились под контролем советских солдат.

Как свидетельствовал 24 июня сам Хасманис, демонстрации, состоявшиеся после обеда 20 июня в Лиепае, проходили под охраной (!) советских солдат, а участие в них принимали не только граждане Латвии. Несмотря на поступавшие заверения советских военных представителей, что они помогут защитить от толпы административные здания, на самом деле происходило обратное. Хасманис свидетельствовал: «В нападении на почту и в разоружении латвийской охраны участвовали советские солдаты». Вывод, сделанный и. о. начальника лиепайского гарнизона, был следующий: «Все эти действия меня убедили в том, что с помощью и под своей защитой советское военное командование проводит в Лиепае переворот».

Конечно же, без ноты 16 июня и последовавших за ней событий правительство К. Ульманиса не пало бы, а правительство под номинальным руководством проф. А. Кирхенштейна — крупного ученого, но не политика, не было бы сформировано. Его создал

прибывший в Латвию А. Вышинский. (Кстати, прибытие Вышинского и то, что правительство должно быть создано под его диктовку, не было оговорено в ноте.) Нота 16 июня — фактически это государственный переворот извне. Конечно, нельзя не отметить, что в конце июня—июле в Латвии наблюдался общедемократический подъем, который вскоре был смят и уничтожен сталинщиной. Было бы весьма упрощено представлять сталинизм как только что-то внешнее, навязанное, хотя как правительство Кирхенштейна, так и ЦК КПЛ полностью действовали под контролем и руководством Вышинского и К³ (с начала июля на заседаниях ЦК КПЛ появляются некто Сергеев и Владимиров, определявшие ход дела). Многие участники событий 1940 года, может быть, и не совсем точно представляли, во что они вольются, но в целом в значительной мере были к ним внутренне готовы. Это — итог влияния сталинизма на КПЛ в 30-е годы,

³ Сам Вышинский понимал, сколь ущербный характер носит вопрос об образовании правительства Кирхенштейна. Выступая на митинге в Риге 5 июля, он заявил: «16 июня этого года Советское правительство предъявило старому латвийскому правительству ультиматум, потребовало организовать такое правительство, которое искренне и честно было бы готово и способно выполнить пакт между Латвией и СССР. По требованиям СССР, как вы знаете, 20 июня, в полном согласии с Советским правительством, в полном и точном соответствии с нотой Советского правительства от 16 июня, было организовано новое правительство, которое мы и призываем приветствовать как ваше правительство. Ура!.. Если кто-нибудь попытается подорвать доверие к новому латвийскому правительству, это будет означать, что он пытается подорвать доверие к Советскому Союзу» («Пролетарская правда», 6 июля 1940 г.). Вышинский призывает, фактически — приказывает населению принять правительство Кирхенштейна как «свое» правительство, а тем, кто этого не захочет или «попыtet подорвать доверие» — угрожает! Ясно, что такие угрозы экс-прокурора вряд ли были бы необходимы, если бы новое правительство образовалось действительно по воле народа, а не в результате закулисных действий. В декабре 1940 года Я. Калиберзин полную зависимость от Вышинского скрыл благородным словом — «помощь»: «успехи... достигнуты потому, что наша партия получила большую помощь от ЦК ВКП (б), тов. Вышинского, Деревянского и политических руководителей Красной Армии».

особенно в период ее разгрома (с 1936 года). Нельзя причислить к наивным людям с демократическими иллюзиями Спуре, Новикса, Латковско-го и других, знавших, на что идут.

Лето 1940 года, породившее столько надежд и чаяний, очень рано обернулось сильными заморозками. Первые крупные аресты прошли уже 9 июля. 20 июля, по представлению политической полиции, возглавляемой В. Латковским, было арестовано 79 человек.

Что же касается сказанного тов. Круминем об отсутствии в Латвии революционной ситуации накануне 16 июня 1940 года, то тут следует прислушаться к мнению самих революционеров, притом — высказанному в 1940 году, а не после событий. Газета «Заря» — орган КПЛ — в номере от 28 марта 1940 года пишет: «Есть ли у нас революционная ситуация? ... всеобщего революционного подъема масс, их повсеместной готовности к открытым революционным выступлениям у нас еще нет. А это является главным моментом революционной ситуации ... Мы еще не создали действительно боеспособной организации, наша организация еще не является массовой. Она еще не подготовила эти массы к решающим битвам. Ни одного серьезного революционного выступления масс она еще не провела» (статья «С вооруженным восстанием не шутят»). А в номере от 16 мая, в статье «Уроки первого мая», указывая на рост активности масс (имеется в виду Латгалия, один из районов Латвии, где брожение было более глубоким), газета одновременно отметила: «Готовность масс к борьбе умножилась. А многие коммунисты и члены организации революционной молодежи ... бросались в панику и прятались по углам, боясь обнаружить себя ...» Газета «Текстильнику виенба» в июньском номере 1940 года также указала: «Некоторые рабочие поднимают вопрос о генеральной забастовке ... но время для нее еще не созрело ...» Наверное, есть основания считать, что в целом прав был министр внутренних дел К. Вейдникс, который на встрече со старшими офицерами рижского гарнизона 29 мая 1940 года заявил: «... положение внутренней безопасности нашего государства стабильное ... настроение наших граждан, за исключением беднейших слоев населения, некоторых национальных меньшинств и других неустойчивых элементов,

верное государству, вождю (К. Ульманису. — А. С., М. В.) и правительству . . .» Конечно, было бы совершенно необоснованно считать, что все были довольны режимом К. Ульманиса. М. Валтерс писал Ульманису 20 января 1940 года: «Ошибающиеся частично — лстящие тебе люди славили 15 мая (день государственного переворота в 1934 году. — А. С., М. В.). Верь мне — настоящий май еще впереди, намного более близкий голосу народа, который сейчас про себя тихо рассуждает совсем иначе, нежели это проявляется в дни празднеств».

Однако глухого роптания было явно недостаточно для свержения режима. Накануне событий июня он отнюдь не был уже у своей последней черты.

Вообще все рассуждения о революционной ситуации — это попытка как-то легализовать противоправные, агрессивные действия Сталина по отношению к маленькому, беззащитному государству. Изучая события в Латвии летом 1940 года, не будем все глумиться над благородным словом «революция». Ведь мы хорошо знаем то высокое и чистое, что оно обозначает — будь то во Франции в дни Великой Революции, или у нас в Латвии, когда мы вспоминаем 1905 год и кровь на снегу после экспедиций казацких сотен.

Жданов, Деканозов, Вышинский, Чичаев, Ветров, Деревянский и К°, выполнявшие в Прибалтике волю Сталина, режиссеры и главные действующие лица летних событий 1940 года — неужели и они революционеры? Не будем же кощунствовать!

23 августа 1939 г. два диктатора — Сталин и Гитлер — решили судьбу Латвии. После того как 5 августа 1940 г. она уже оказалась в составе СССР, посол Германии в Латвии У. фон Котце посетил в Риге В. Деревянского, представителя ЦК ВКП(б) и Советского правительства. «Вначале я поздравил его в связи с тем, что движение присоединения и реализации связанных с ней официальных актов **беспрпятственно и без жертв** (подчеркнуто нами. — А. С., М. В.) доведено до удовлетворительного конца, и добавил, что мы в первую очередь как дружественная Россия имеем основания радоваться этой удачной акции», записал 8 августа в своей служебной отметке (auf zeichnung) Котце. «Посол искренне поблагодарил и заверил, что — где бы он ни был, везде с глубоким убеждением будет работать над улучшением и совершенствованием дружественных отношений между Германией и Советским Союзом».

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ В КОНЦЕ КРУТОГО МАРШРУТА

1

Л. Она умерла 25 мая 1977 года в семь часов утра.

Хоронили на следующий день.

Никаких траурных объявлений не было. Известить удалось лишь немногих.

С ночи зарядил дождь — серый, холодный, осенний, то затихавший, то нараставший. К полудню маленькая ее квартирка была полна. В тесной прихожей в углах и вдоль стен груды — плащи, пальто, зонты.

Гроб в комнате на столе.

Она неузнаваемая. Шафранно-желтая старушка. А ведь никогда не казалась старухой, даже в самые трудные дни болезни.

Все время входили и выходили друзья, знакомые, читатели. Бывшие колымчане и воркутинцы, жители соседних домов... На кухне курили. Толпились на лестнице, в подъезде.

В углу комнаты — проигрыватель. Бах. Негромко.

Ее сын Василий Аксенов, дочерневший, осунувшийся, молча здоровался, медленно двигался, менял пластинки.

Гроб выносили под дождем. Автоматафалк, автобус, несколько легковых. До самой могилы провожало не меньше ста человек.

Кузьминское кладбище. Старое. Просторное. Зеленое. Широкая главная аллея. Гроб везут на каталке вроде больничной.

Свернули в боковую узкую аллею. Остановились. Дальше нужно было пробираться по щелям-проходам между оградками.

Потемневший крест на могиле мужа

Антон Вальтера. Рядом свежая глинистая яма.

Дождь утих. Гроб опять открыли. Еще явственней неестественная желтизна чужого лица. Я спросил у Васи: «Можно говорить?» Он кивнул.

«Она была рождена для счастья. Чтобы быть счастливой и дарить счастье. Чтобы любить и быть любимой. Растить сыновей. Писать стихи и прозу. Учить студентов. Учить прекрасному. А на нее — на молодую, красивую, жизнерадостную женщину — обрушилось такое несчастье, такие беды и страдания, которые сломили многих крепких мужчин; она испытала все ужасы: сталинской каторги, погубившей сотни тысяч людей. Там она узнала и о гибели старшего сына... А после десятилетнего заключения, после короткого промежутка надежд — новый арест, новые муки, осуждение на вечную ссылку. И уже на свободе — смерть мужа, доктора Вальтера, и все новые горести, новые разочарования. Короткие радости и долгие беды. И, наконец, мучительная, страшная болезнь... Но всегда и везде она оставалась сама собой. Всегда и везде была настоящим человеком, настоящей женщиной. Подобно тем деревьям на Севере, где она столько выстрадала, — деревьям, которые растут вопреки морозам и ураганам, растут и приносят плоды. Так и она каждый раз поднималась над своими несчастьями — работала, дарила радость и сама умела радоваться.

Ее книга приобрела всемирную славу. Эта книга была первой в ряду, который еще продолжается и будет про-

должаться. Все, кто с тех пор писал и пишет воспоминания, кто старается запечатлеть, осмыслить наше прошлое, трагическую судьбу нашей страны, мы все пошли по ее следам. «Крутой маршрут» — это начало новой главы в истории нашей общественной мысли и нашей словесности... Какое счастье, что она успела сама вкусить хоть частицу своей славы. Увидела Париж, побывала у Бёлля в Кельне. И как прекрасно радовалась она этой поездке... Горько, что не дожидая до издания второй части.

Она мучительно умирала. Смерть была избавлением от мук... И все же это нелепо жестокая смерть, которая принесла всем нам горе, боль... Но смерть прошла. А бессмертие будет длиться. Она будет жить, пока живы те, кто ее помнит. Будет жить еще дольше, как тот язык, на котором написана ее книга, и те языки, на которые эти книги перевели и переведут».

Потом говорила Зора Ганглевская, бывшая эсерка — невысокая седая женщина, говорила тихо, глуховатым, ровным голосом:

«... Когда к нам на Колыму прибыл тюремный этап, я тогда работала в больнице сестрой, женщины принесли ее очень больную, истощенную. В жару. Принесли и сказали: «Лечите ее. Женя должна жить, обязательно должна. Она самая лучшая, самая талантливая. Она обо всем напишет». Мы ее выходили. И в нашей больнице все ее очень полюбили. С тех пор у нас была дружба. И вот она жила и писала. А сколько могла бы еще написать... Кто ее знал, никогда не забудет, всегда будет любить. Прощай, Женя...»

Подошла к гробу еще одна давняя подруга — Вильгельмина Славущая.

«Я хочу сказать Алеше, — Алеша стоял напротив, высокий, красивый, рассеянный, в пестром кепи, — твоя бабушка, Алеша, начала писать свою книгу как письмо внуку. Мы все тебе за это благодарны. Но ты должен быть достоин этой книги. Это высокая честь. Помни бабушку».

... Последнее целование. Стук молотка. Отрывистый, надмогильный стук. Он и в крематории, — в машинно-стандартом цехе смерти напоминает о кладбищенских прощаниях.

... Поминки были за тем же столом, на котором утром стоял гроб. Обычные

поминки, печальные и хмельные, когда к концу уже иногда смеются чаще, чем плачут.

Вася вспоминал, как ездил с матерью в Париж. Дочь Тоня в этот день прилетела из Оренбурга, где гастролировал ее театр, опоздала к выносу, к похоронам и одна сидела вечером у могилы. На поминках она рассказывала, как мать любила праздничать, как веселилась и заражала весельем.

Кто-то сказал:

— Надо писать о ней. Надо, чтобы написали все, кто ее помнит.

2

Р. Я ее увидела впервые в августе 1964 года у Фриды Вигдоровой, которая торжественно сказала:

— Евгения Семеновна Гинзбург-Аксенова, написавшая «Крутой маршрут», приехала из Львова.

Когда я раньше, читая рукопись, пыталась представить себе автора, передо мной вставало страдальческое, трагическое лицо старой женщины.

Моложавая, хорошенькая, веселая. Полная, но движется легко. Волосы на прямой пробор, сзади пучком. Не по моде. На шее — завитки. Никакая не страдалница. Скорее, благополучная дама. Холеная, ухоженная. У таких бывают домработницы, дачи, машины.

Глаза светятся умом.

В ее лице — в мягко, но широко развернутых скулах, в разрезе глаз, — и татарские, и российски-простонародные черты. Этим она по-сестрински походила на Фриду, — ответы давних событий истории в лицах русско-еврейских интеллигентов.

Однажды я видела, как она разговаривает с татарской крестьянкой. Обе круглолицые, скуластые, пригожие. Выговор у обеих округлый, мягкий. Резко отличный от того среднеинтеллигентского языка, который обычно звучит вокруг нас.

— Если верить в переселение душ, то я в прошлой жизни была деревенской бабой.

Через месяц после первого знакомства мы поехали во Львов в командировку. Идти к ней я боялась. Но она так приветливо встретила нас в городе, который показался чужим, неприязненным, что нигде не хотелось быть без нее. Рассказались, когда мы уходили читать лекции.

В первый же вечер засиделись до-

светло-русый, красивый. Он восхищался ею, она радовалась его восхищению.

Осенью она писала нам, что он уехал в Тулу к умирающей матери: «Я лишний постоянный понятливого собеседника именно в то время, когда он особенно нужен».

В 1965 году в Киеве и Львове арестовали несколько молодых поэтов и художников. По обвинению в национализме. Опять началось с Украины — там и тридцать седьмой начался в тридцать четвертом.

На первомайской вечеринке возник спор: правы ли молодые люди, надо ли было затевать рукописный журнал, арестовывают ли теперь без основания и т. д. Одни защищали, другие осторожно осуждали арестованных. Леонид Васильевич хотел что-то сказать, но вырвался лишь хрип, и он упал на руки Евгении Семеновны мертвым.

После смерти Леонида Васильевича ей уже невмочь было оставаться во Львове. Она писала (4.7.1966): «... сколько бы вы ни желали ускорить мне обмен жилья с Москвой, а он, увы, опять сорвался. В этом есть что-то фатальное... Видно, Лычаковское кладбище никак не хочет уступить меня Кузьминскому (видали юмор висельника?)».

Временами сын доставал ей путевки в дома творчества. Ей нравился размеренный режим, прогулки, возможность работать без помех, возможность общения.

Когда она впервые приехала в Малевку, регистраторша спросила:

— Вы член семьи?

Она ответила привычно:

— Нет, у меня самостоятельное дело.

Перебраться в Москву было трудно. Но помогли друзья, помогли читатели — знакомые и незнакомые, больше тридцати человек. Особенно много сделали Рой Медведев и Григорий Свицкий, в ту пору оба члены партии. Ходатайствовал за нее и работник ЦК Игорь Черноуцан.

Одни помогали коммунистке, которая осталась верной знамени и после восемнадцати лет лагерей; другие — жертве режима; третьи — писательнице, поведавшей правду и, значит, вне зависимости от ее намерений, разоблачающей систему; четвертые — заботились о друге.

В 1966 году она въехала в одноком-

натную квартиру на Аэропортовской в писательском кооперативном доме.

Давая свой номер телефона, говорила:

— Начало, как у всех в наших домах, — сто пятьдесят один, а дальше все про меня: первое — когда? — тридцать семь, а второе — сколько? — восемнадцать.

После переезда в Москву она иногда спрашивала:

— А может быть, я должна была тихо сидеть во Львове, писать и писать свое?! Но ведь живой же человек?!

Противоречия, раздор, даже раскол между писателем и человеком — один из источников драматизма последних лет жизни Евгении Гинзбург.

Она писала 5 апреля 1965 года из Львова: «Да, Раечка, вы верно почувствовали, что за моим кратким поздравлением к двенадцатому празднику 8 Марта стоит довольно грустное настроение. Да, с чего бы, собственно, веселиться? Оставшиеся мне считанные годики, а может быть, и месяцы (это не пессимизм, а просто реальный учет возраста) бегут стремительнее, а то, что надо доделать, все еще не доделано, тонет с торопливостью каждого дня...»

Она не была samozабвенно жертвенным служителем Слова. Ее могли отвлечь от работы большие и малые радости, будничные заботы и праздники, порой и просто света. Но она преодолевала стремление к радостям — такое неутоленное, преодолевала болезни, преодолевала страх.

Память и долг властно возвращал к старой пишущей машинке без футляра, аккуратно прикрытой красной рогожной накидкой.

Переехав в Москву, она не вступила ни в Союз писателей, ни в группком при издательстве. Прикрепилась к партийной группе при домоуправлении как пенсионерка. Платила членские взносы. Выпускала дважды в год стенгазету. Исправно ходила на собрания (она все делала исправно). И продолжала писать «Крутой маршрут».

— В моей партиячке одни оставники, «черные полковники»*, понятий не имеют, кто я, вообще понятия не имеют о самиздате.

Необходимость хоть изредка их видеть, слышать, ходить на собрания

* Так называли вождей военной диктатуры в Греции.

тяготила ее все больше, внушала отвращение. Но именно эта парторганизация дала ей в 1976 году характеристику для поездки в Париж.

Рукопись «Крутого маршрута» с начала 60-х годов читали, передавали друг другу, перепечатавали. В ИМЭЛе сделали 400 экземпляров (туда рукопись переслали из журнала «Юность»).

Рой Медведев, который подружился с Евгенией Семеновной (она ласково называла его «племянник», его отец погиб в годы террора), дал «Крутой маршрут» А. Д. Сахарову. В Институте физики рукопись размножили на «Эре».

Одна из читательниц Е. С. продиктовала всю книгу на магнитофонную пленку.

В последние годы Евгения Семеновна часто повторяла:

— Я благодарна Никите не только за то, что всех нас выпустили, — не то жалала бы в вечной мерзлоте с биркой на ноге, — но и за то, что избавил нас от страха. Почти десять лет, пока не арестовали Синявского и Даниэля, — я не боялась.

Если бы можно узнать истинные самиздатские тиражи, — думаю, что «Крутой маршрут» занял бы одно из первых мест.

Рукопись попала на Запад. В 1967 году итальянский издатель Мандадори выпустил книгу одновременно по-итальянски и по-русски. Многие главы передавали по Би-би-си.

Министр госбезопасности Семичастный на собрании в редакции «Известий» заявил, что «Крутой маршрут» — «клеветническое произведение, помогающее нашим врагам». Это сказал всеисильный глава всеисильного КГБ.

Еще во Львове мы узнали, что есть другой вариант рукописи, гораздо более резкий. Озаглавленный «Под сенью Люциферова крыла». Она рассказала об этом шепотом в безлюдном парке.

Несколько лет спустя я спросила об этой рукописи. Она ответила:

— Сожгла. Испугалась и сожгла.

Окрик Семичастного вернул былые страхи... Иначе и быть не могло. Не вижу я того героя, который после восемнадцати лет не боялся бы повторения. Да разве только эзки? Боятся сыновья и дочери лагерников. Сыновья и дочери тех, кто тогда боялся лагеря. Боятся подавляющее большинство, и не без оснований.

Она сама пишет в конце книги:

«Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен страхом, кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха, — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги, — я и сама порой испытываю при новых ночных звонках у двери, при повороте ключа с наружной стороны».

Испугались за нее друзья. Стали придумывать, как защитить. Устроили интервью с корреспондентом газеты «Унита», которому она сказала: «Книга издана за границей без моего ведома и согласия».

Это было правдой. Но тому, что рукопись стала книгой и в Италии и в Германии, во Франции и в США, — она радовалась.

Я переводила ей рецензии из американских и английских газет и журналов. Ее раздражало, что некоторые рецензенты объединяли «Крутой маршрут» с книгой Светланы Сталиной «Двадцать писем к другу», вышедшей почти одновременно. Наши попытки защищать Светлану были безуспешны — она ненавидела все, что хоть как-то было связано со Сталиным.

Вскоре сняли Семичастного.

Непосредственная опасность для нее миновала...

3

Л. В октябре 1970 года в Москву приехал президент Франции Помпиду. В числе сопровождавших его журналистов был Кароль — известный публицист-политолог, автор книг о Китае и Кубе. Он родился в Польше, в семье коммунистов, в 1939 году шестнадцатилетним бежал от гитлеровцев на восток; окончил школу в Ростове, поступил в университет, стал солдатом; был арестован за «антисоветские разговоры». Из лагеря опять попал на фронт в штрафбат. После войны репатриировался в Польшу и оттуда уехал во Францию.

Кароль — «независимый левый». Весной 1963 года он, сотрудник журнала «Экспресс», участвовал в издании «Автобиографии» Евгения Евтушенко, которая вызвала ярость партийных чиновников и некоторых руководителей Союза писателей. Именно Кароль обратился тогда за помощью к Тольятти, и тот вступился за поэта.

Кароль очень обрадовался, когда мы его познакомили с Евгенией Гинзбург.

— Ваша книга — замечательное произведение. И документальное, и художественное. Мало сказать правду, нужно еще, чтобы ей поверили. И поверили не только те, кто ничего не знает, но и предвзятые, обманутые. Ваша книга и убеждает, и переубеждает.

Кароль понравился ей так же, как и нам. Они разговаривали вполдружелюбно, пока он расспрашивал, слушал. Но едва он сочувственно отозвался о Че Геваре, о студенческих бунтах в Париже в мае 1968 года, она рассердилась:

— Да что вы такое говорите! Этот Гевара — обыкновенный бандит, фанатик, а ваши мальчишки и девчонки просто ошалели от дурацких лозунгов, от наркотиков. Молятся на этого Гевару, а еще хуже — на Мао.

Кароль пытался возражать, но она прерывала его все запальчивее, все громче:

— Простите, но вы ничего не понимаете. Мао — новое издание Сталина. Иногда натыкаешься на их радиопередачи — такие противные, визгливые дисканты. Как они славят своего великого кормчего. Все то же самое, что было у нас. Ваш Сартр — идиот или подлец. Да как можно говорить о революции после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны! Бесчеловечны!

Ее голосисто поддерживали еще некоторые участники беседы. Каролю с трудом удавалось прорываться.

— Позвольте, позвольте, я не могу понять. Вы не верите вашим газетам, когда они пишут о Западе или о вашей стране. Почему же вы им верите, когда они врут о Китае? А я там был. Дважды. И подолгу. Ездил по стране. Разговаривал с Чжоу Эньлаем, и со студентами, и с рабочими. У них там многое плохо, отвратительно. Есть и фальшь и жестокость. Но их система совершенно иная, чем ваша. Культурная революция была сначала именно революцией. Молодежь восстала потому, что не хотела мириться с бюрократией и не хотела таких порядков, как у вас. Мао был достаточно умен и не только не пытался подавлять это движение, но стал направлять его. Конечно же, в Китае много страшного, жестокого. И я об этом писал. Но у них там совсем другие порядки, чем у вас. И политика противоположна вашей. В Китае впервые за сотни лет нет голодающих. Нет голо-

да, нет нищеты... Вы воспитаны в сталинской школе нетерпимости. Вы бросаетесь из одной крайности в другую. Я понимаю ваш гнев. Вчера и сегодня был с Помпиду на приемах. Бюрократические спектакли. Пошлые, глупые ритуалы. Я хожу по улицам и вижу, как не похож мир Кремля и министров на мир улиц, магазинов, пивных и на этот ваш мир. Между ними пропасти. Но сейчас я наблюдаю странный парадокс — эти разные миры совпадают в одном: они чрезвычайно консервативны. Можно понять, почему ваше правительство не хочет самостоятельности масс. Но, оказывается, и вы отвергаете все революции, потому что они безнравственны. Что же, вы хотите их запрещать? Не допускать? А вам нравятся землетрясения или тайфуны? Они тоже безнравственны и бесчеловечны!

— Ах, неизбежность революции! Это сказка, придуманная Марксом. У нас в двадцатые годы троцкисты кричали о мировой революции. А теперь и вы о том же. Шведы и англичане обошлись безо всяких революций. У них безработные живут лучше наших рабочих и наших профессоров.

— Вы забываете, что и там были в свое время революции. Да и сегодня не все там согласилось бы с вами, что они живут как в раю. А неизбежность революции — совсем не сказка. Пример — май тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, он застал нас врасплох. Это была настоящая стихийная революция. Никто не знал, что делать. Коммунисты растерялись больше всех. Теперь мы стараемся извлекать уроки. Мы должны быть готовы к неизбежным потрясениям, чтобы предотвратить такие разрушения, такие жертвы, которых можно избежать, чтобы революция не вырождалась в террор, в тоталитаризм. Мы не хотим повторять ни вас, ни китайцев.

— Не хотите, не хотите, но умиляетесь китайским палачам, так же как Ромен Роллан и Фейхтвангер умилялись нашим палачам. Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете, что делаете! Вы и себя погубите в конце концов. Опомнитесь, когда уже поздно будет!

Кароль тоже разгорячился, перестал сдерживаться и кричал уже почти как его оппоненты.

— Это не так, это все не так! Мы стараемся вас изучать и понимать. Поймите же и вы — кроме ваших вчераш-

них бед сегодня есть и другие страшные беды. На земле миллиард голодающих. Ежедневно от голода умирают сотни тысяч людей. Во Вьетнаме, в Индонезии ежедневно убивают людей. Убивают, и пытаются, и мучают... Мы сочувствуем вам. Мы говорим и пишем о Солженицыне, Синявском, Даниэле, Гинзбурге, Галанскове, ходатайствуем, протестуем. Но мы не можем забывать о страданиях других людей в других странах. Вы кричите: «пресыщенные снобы». Но вы же ничего о нас не знаете. Да, у некоторых из нас достаточно денег, чтобы спокойно жить, писать статьи, книги, наслаждаться искусством, путешествовать. Но мы ввязались в политическую борьбу только потому, что так велит нам совесть, велит сострадание... А вы это называете снобизмом!

Спор иссякал безысходно. Кароль ушел едва ли не в отчаянии.

На следующий день он говорил мне:

— Гинзбург замечательная женщина. Я и раньше знал, что она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом, ее молодой страстностью. Она была похожа на наших студентов, на самых радикальных, тогда, в мае. Но она их прокликает, не хочет понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся такими убежденными реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма.

А Евгения Семеновна, вспоминая о Кароле, говорила:

— Он, конечно, умен и многое знает. Но только мозги у него набекрень. Типичный троцкист. Я их встречала в молодости. Один из таких даже ухаживал за мной. Противный был крикун. Я их всегда не любила. И вот извольте — полвека спустя опять то же самое: «мировая революция!», «управлять стихиями»; они там на Западе совсем обезумели.

4

Р. Она привыкла быть первой. В тюремных камерах, в ссылке, да, вероятно, и много раньше — в школе, на работе, в университете. Она везде естественно становилась центром, средоточием любого общества. Потому что она была хороша собой, общительна, остроумна, чаще всего бывала самой образованной, поражала необычайной памятью, увлекательно и артистично рассказывала.

Она отлично уживалась и с соседками по большой коммунальной квартире. Поэтому к ней тянулись старые и молодые, утонченные интеллигенты и рядовые партийцы, эсеры и сталинисты, светские дамы и колхозницы...

Живой ум, энергия, темперамент, а с ними и стремление первенствовать, конечно же, прирожденные, как музыкальный слух или память. Но в юности эти ее свойства развивались и усиливались в среде казанской партийной интеллигенции, а позднее — на тюремных нарах, в атапах.

Она ощущала и сознавала, что привлекательна, сознавала неизбывность своих жизненных сил. И это сознание еще больше укрепляло ее.

Она испытала много несчастий, но не знала ни тоски женского одиночества, ни боли безответной или обманутой любви.

Она вынесла, преодолела, сдюжила ужасы восемнадцатилетней каторги. Так возникло гордое сознание победы.

Сначала, должно быть, радостное удивление. Вот оно, значит, так! Все-таки сумела!

Но была и горечь — сколько жизни упущено безнадежно, утрачено безвозвратно!

Чем больше времени отделяло ее от Колымы, чем громче звучали голоса почитателей, тем чаще, тем злее донимали и горькие мысли:

— Как вы не понимаете, я просто больная старуха! Все слишком поздно! Постучу полчас на машинке и устою, будто лес валила. Одышка, аритмия. Ах, бедная, бедная Женя, какая была когда-то неутомимая... А теперь даже думать трудно. Теперь я понимаю, что это значит — растекаться мыслью по дереву. Раньше всегда считала, что это вычурный образ. А теперь сама ощущаю, как мысли растекаются, расплзаются... И никому я не нужна. Противно глядеть на себя и на весь Божий свет.

Но уже через несколько дней или даже через несколько часов она могла с гордостью рассказывать:

— Сегодня я прошла двадцать тысяч шагов. Точно по шагомеру. Вначале была одышка, но я себя заставила. И вот теперь как огурчик. И уже не меньше четырех часов просидела за машинкой. Не знаю, что получилось, но восемь с половиной страничек почти готовы. Значит, есть еще порох в пороховницах!

Окончательно переехав в Москву, она уже не всегда и не везде чувствовала себя первой. Еще реже — единственным средоточием внимания. Новые друзья, новые знакомые были ей интересны, многие приятны, иные становились душевно близки. Она снова и снова слышала похвалы, ею восхищались известные литераторы, ученые. Но в их обществе, да и среди менее знаменитых, однако не менее самоуверенных и говорливых москвичей, ей приходилось как бы каждый раз заново самоутверждаться.

Ее московская квартира была обставлена без претензий, старосветски уютно: пианино, диван с подушками, старое мягкое кресло, шаткий телефонный столик, овальный стол, накрытый скатертью с бахромой, много книг — на полках, на столе, на стульях. Большая репродукция Мадонны, привезенная из Львова. Много снимков: сыновья, Тоня в разных ролях, Антон Вальтер, Пастернак, Солженицын, Рой Медведев, родители. Она сама в молодости. К ней приходило множество разных людей, иногда и вовсе незнакомых друг с другом. К ней приходили солдаты, сослуживцы, их дети и друзья, «разноязычные» интеллигенты, литераторы, врачи, юристы, работники издательства, редакций, научных институтов, театров. Поэтому день рождения Евгении Семеновны 21 декабря праздновали обычно в два, а то и в три приема. Она относилась к этому очень серьезно, распределяла, тщательно подбирала — кто с кем совместим за одним столом. И это было тоже желанием вернуться назад . . .

Л. Она судила о стихах, о книгах и о некоторых людях, как нам иногда казалось, несправедливо, пристрастно: то чрезмерно сурово, то очень уж снисходительно.

В «Крутом маршруте» она писала: «За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского.

Несколько недель мы живем только Маяковским . . .»

А нам говорила:

— Разлюбила я Маяковского. В молодости очень любила, а теперь нет. Грубый, крикливый. Газетчик, а не поэт. И уж так советскую власть славил. Агитатор! Горлан! Нет, разлюбила. Правда, после него многие еще хуже были . . . Я ни от кого не требовала послания

«во глубину сибирских руд». Но подличать зачем? Ведь почти все советские писатели прямо сотрудничали с властями, проклинали врагов народа и, значит, всех нас. А русская литература всегда была за угнетенных, за униженных и оскорбленных.

— . . . Вы читали новые стихи Н.? Ах, вам они не нравятся. Уж это Лидия Корнеевна вас так научила. Вы литературные максималисты и ригористы. А я простая учительница словесности. И еще я рядовая газетчица. И я благодарна за каждую честную книгу, за каждое искреннее стихотворение. Ведь не могут же все писать, как Толстой, Твардовский или Солженицын. И этот роман (повесть, поэму) надо мерить другим аршином. В своих масштабах — это вполне достойное произведение. В нем высказана правда, пусть не вся, пусть осторожно — но хоть кусочек правды. Есть хорошие мысли . . .

— . . . Почему вы плохо думаете о Д.? Может быть, он и не блещет умом, но он вовсе не дурак. И по характеру очень добрый человек, вполне порядочный. Вы на него опять за что-то сердитесь? А ко мне он очень хорошо относится. Вчера опять звонил, хочет устроить мне одну литературную работенку. Нет, ни за что не поверю, что он способен на дурной поступок. Правда, он иногда боится, перестраховывается. Но это можно понять. Он ведь на службе. Это нам с вами хорошо, вольным казакам. Нет, нет, напрасно вы к нему придираетесь . . .

— . . . Вчера опять проскучала весь вечер с Т. Но с ней я спорить не могу. Она, знаете ли, такая правильная, ортодоксальная. Однажды Вася при ней стал высказываться, и она пришла в ужас: «Женя, как вы допускаете, чтобы ваш сын так думал, так рассуждал? Ведь это хуже, чем ревизионизм! Это уже посягательство на основы основ, на самое святое! Вы должны повлиять на него. Он же член Союза писателей, он ездит за границу!» Я ее успокаиваю, дескать, это просто шутки, у молодых теперь такой *façon de parler*. Но она все кудахтала, ужасалась, чуть не плакала . . . Нет, возражать ей бесполезно. Ведь она восемнадцать лет была в лагере. А теперь даже Сталина пытается защищать: «Ах, он все-таки был большевик, он строил социализм». Но я ее люблю и она меня любит. Ничего не поделаешь, старая дружба. Однако мою книгу ей не давала и не дам. Она

хочет все забыть. Если бы прочтала, умерла бы от ужаса, от огорчения. И вас я не зову, когда она приезжает, — а то еще ляпнете что-нибудь похуже, чем Васька.

К близким друзьям и даже просто к хорошо знакомым она обычно была терпима. Спорила. Иногда сердилась. Но многое спускала. Так она уже в последние годы прощала Рою Медведеву его марксистскую идеологию, полемику с Сахаровым и Солженицыным. Бывшему арестанту Льву Матвейчу — его наивно ортодоксальный «старобольшевизм». Тамаре Мотылевой — верность партийным основам, при всех либеральных оговорках.

Личная приязнь или неприязнь ей были важнее любых разногласий.

— Женю Евтушенко я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном». Ну, совершеннейший мальчишка. А стихи у него прекрасные — «Наследники Сталина», «Бабий Яр», «Станция Зима», по-моему, они по-настоящему поэтичны. Или, например, «Исчезают в России страхи...» Ведь прекрасные же стихи и Шостаковича они вдохновили. Эти снобы теперь завели моду его ругать. А по-моему, он лучше Вознесенского. Тот очень талантливый, но какой-то искусственный, машинный.

5

Р. Каждый год Евгения Семеновна проводила по две-три недели на теплоходах.

— Открываю и закрываю навигацию.

Она любила эти плавания, радовалась волжским просторам, прогулкам по новым городам и полированному комфорту. И строго соблюдала свой неизменный режим.

Весной 1970 года с ней поехала ее старая казанская подруга. И поставила условие:

— Никаких разговоров о «Крутом маршруте». Ты пенсионерка, а я еще на службе. Так что о себе никому ничего не рассказывай.

К их столику все чаще подсаживался высокий, сухоощавый, сутулившийся мужчина. Глаза прозрачно-бледной голубизны. Инженер, бездетный вдовец, Евгений Николаевич.

Теплоход приближался к Казани. Пассажиры сгрудились на палубе.

Кто-то заметил:

— Вот моя alma mater. Я здесь кончил юридический еще до революции.

— А я историко-филологический в двадцать пятом году, — не удержалась Евгения Семеновна.

И сразу же услышала голос Евгения Николаевича:

— Значит, вы учились вместе с Евгенией Гинзбург?

— С какой Гинзбург?

— Неужели вы не слышали? Автор «Крутого маршрута».

— Кажется, встречала.

Она ответила сухо, растерянно обернувшись к подруге.

Евгений Николаевич посмотрел огорченно. Больше к их столику не подсаживался.

Его каюта была напротив рубки радиста. Порыв сквозняка распахнул двери в коридор и несколько писем вылетело. Он поднял и увидел на конверте: «Евгению Семеновне Гинзбург». Принес ей письмо.

— Оказывается, это вы...

Мы рассказывали друзьям и знакомым эту майскую сказку. Значит, все же бывают чудеса.

В сентябре того же семидесятого года у нее оказались лишние билеты на теплоход «Добролюбов» Москва — Пермь — Москва. Мы обрадовались ее предложению плыть вместе и тогда познакомились с Евгением Николаевичем. Двенадцать дней мы вместе завтракали, обедали, ужинали. Часто гуляли четверном. Сидели на палубе.

В ресторане каждый из них платил за себя. Они называли друг друга по имени-отчеству. Изредка случались обмолвки: «ты», «Женя». Мы делали вид, что не замечаем.

Он старомодно ухаживал. Она кокетничала, молодела, хорошела. А он сиял от гордости.

И я заново влюбилась в нее, как тогда во Львове. Любовалась ее радостью — такой поздней и такой заслуженной.

Он казался прочной опорой — женщина может прислониться. О себе рассказывал мало. Больше о детстве на Волге, о рыбалке. В споры не вступал. Политику откровенно презирал — всегда. От литературы был далек. И не притворялся, будто ему важно все то, что так занимало нас троих.

Главное — он ее любил.

... Вечер. Палуба. Она читает «Русских женщин». Мы отдыхаем. Волга. Свобода. Беспечные люди.

А я пытаюсь представить себе тюремные камеры, где она читала Некрасовскую поэму, дарила стихи своим несчастным товаркам — и тем, кто слушал впервые, и тем, кто вспоминал, слушая ее.

В главе «Седьмой вагон» она писала, что героини поэмы Некрасова «воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто бы не удивился, если бы рядом с Клавой Михайловой и Надей Царевой здесь была бы Маша Волконская и Катя Трубецкая».

При Николае Первом тоже арестовывали, ссылали на каторгу, убивали своих, даже тех, у кого сам царь крестил детей, с чьими женами и сестрами танцевал на балах.

И география неизменная — Шилка, Нерчинск. Многие похоже.

Но как усовершенствовалось мучительство за столетие! Иркутский губернатор уговаривал Екатерину Трубецкую не ехать дальше. В тридцать седьмом году не было, да и теперь вряд ли найдешь, таких «губернаторов».

Снова чувствую, как я люблю Некрасова, как мне необходимы его стихи.

Евгений Николаевич восторгался:

— Какая память, а? Кто еще так может?

Мы оба вполне искренне:

— Никто!

И верно: ни один из окружающих меня людей не может прочесть наизусть «Евгения Онегина».

Два вечера подряд мы слушали «Горе от ума». Она не забыла ни одной реплики, ни одной ремарки.

В салоне теплохода несколько человек играют в карты. Люди незнакомые, но она к ним обращается:

— Зачем вы играете в карты, когда кругом такая красота?

Л. пытается ее удержать:

— Женя, у вас большевистские замашки. Им хочется играть в карты, почему вы навязываете им свои вкусы?

— Ну, знаете, так можно далеко зайти. Например, оправдывать гомосексуализм или марихуану. В лагере я больше понимала женщин, которые спали с охранниками, чем лесбиянок или педерастов.

Когда в дождливые дни Л. с Евгением Николаевичем выпивали граммов по сто, по двести, она сердилась:

— Вам только повод нужен. Это просто распущенность.

Евгений Николаевич покуривал, прятаясь от нее.

Первое время многие друзья, так же как и мы, радовались их союзу.

Она никому не позволяла называть их мужем и женой.

— Просто мы товарищи по старости.

Но вскорее в этом товариществе стали возникать трещинки и трещины.

Он просил ее соединиться, жить вместе. Но она отказывалась, говорила, что не может уехать из этого дома, что рядом Вася, друзья. Что она любит именно эту свою квартиру.

Она не могла без длительных прогулок, без поездок за город. Зимой она снимала комнату в Переделкине. А ему трудно было жить там, где отсутствовал минимальный комфорт.

Главное же — она не любила. Она лишь позволяла любить себя.

Ее приятельница говорила:

— Просто она необыкновенная, а он — обыкновенный.

Может, и так.

Она заболела, он старел, хворал. Они все реже виделись. Он переехал в дом для престарелых и вскоре покончил с собой.

6

Едва ли не при каждой встрече она говорила:

— Скорее бы уж добраться до третьей части. До ссылки.

Добралась.

А в марте 77-го на крыльце переделкинского дома заклинала:

— Дожить бы до осени. До издания второй и третьей части.

Не дождала.

Однажды она написала хвалебную рецензию на плохую книгу, и мы поспорили. Она соглашалась, что книга плохая, но упрямо отстаивала свое право — хвалить, потому что ей нравится автор, он добрый человек. Мы спорили сердито, раздраженно.

А потом она читала начало третьей части, и мне было стыдно за свои злые слова.

... Освобождение. Ни на минуту лишнюю ее не удержать за колючкой. Ничем, даже колымским бураном... Она бежит с тяжелым чемоданом в руках.

Хочу, чтобы она читала и скорее,

и медленнее, — не пропустить бы ничего.

Двое влюбленных после тягостной разлуки бегут навстречу друг другу.

В литературе экзистенциального отчаяния они не могли бы встретиться, они были бы отчуждены, даже если бы жили вполне благополучно в одном доме.

Но «Крутой маршрут» принадлежит к иной литературе.

Евгения Гинзбург и в аду хотела оставаться сама собой. Противилась жесточайшей стандартизации лагеря: кусочек старого меха, пришитый к телогрейке, красные домашние тапочки, платок няни Фимы...

В Магадане она была ссыльной. Туда, в барак, к ней приехал сын Вася. Ее разлучили с малышом — встретила юношу двенадцать лет спустя. И оказалось, они любят одни и те же стихи. Всю ночь читали друг другу.

23 октября 1964 года она писала нам из Львова:

«Две недели был Вася. Мне кажется, что этот его приезд должен положить конец тому нелепому отчуждению, которое создалось между нами за последние два года. Были у нас с ним настоящие разговоры, такие, как десять лет тому назад в Магадане. Читали друг другу свои опусы и угадывали замечания. Даже стихи читали вместе, как когда-то.

Правда, остается все же то, чего мне не понять в нем: страсть к гусарским развлечениям, разболтанность в быту, какая-то странная неприязнательность в выборе друзей. Не знаю, может быть, это возрастные барьеры?»

В последние годы и эти барьеры были преодолены. Судьба подарила матери и сыну счастье дружбы.

Новые главы она уже не выпускала из дома.

— Приходите, читайте. У меня на кухне читальня для друзей.

... Второй арест. «Дом Васюкова» — магаданская тюрьма. Жутко так, будто это происходит сейчас со мной.

Рассказ этот я слышала от нее раньше. Одно время даже казалось — это можно опубликовать в «Юности», вслед за ее очерками о двадцатых годах.

* * *

— Я всегда знала, что буду писать. И все мои знали. Делились пайкой.

три года на воле не было ни кола ни двора. Просто негде было поставить стол.

Начала летом пятьдесят девятого в Закарпатье. В лесу, на пне, в школьной тетради. Были там с Антоном и Тоней. Но я еще в тюрьме, в лагере, сочинила отдельные главы. Твердила, как стихи, наизусть.

Вероятно, потому она писала сравнительно легко, быстро.

— Я прочитала главу «Бутырские ночи» первому слушателю Антону, он заплакал. Тогда я внезапно почувствовала, что ему недолго осталось жить.

К семидесятому году она хотела дописать только одну последнюю главу: «За отсутствием состава преступления».

В ту осень у нее часто белело сердце, донимала бессонница, она говорила, что не успеет закончить, что смерть перегонит.

И каждый раз я упорно повторяла: — Вы обязаны не только закончить «Крутой маршрут». Вы должны написать и еще одну книгу — как у Томаса Манна «Роман романа»; как возникла рукопись, как росла, ее пути самиздатовские и тамиздатовские.

Эту книгу она написать не успела.

Случилось так, что я перечитывала «Крутой маршрут», уже закончив вчерне эти воспоминания. Сквозь первые страницы пробилась с некоторым трудом, задевали словесные штампы, сентиментальность, а то и газетные обороты.

Но все это скоро исчезло, наплывало негодование, ужас, сострадание, стыд. И я уже не думала, не хотела думать о том, как это написано. Некоторые словосочетания изредка продолжали коробить, но теперь уже неприятно, что я их замечаю.

Не знаю, какими художественными средствами автор передает мне невыносимость напряжения двух предтюремных лет. Вместе с героиней-автором приближаюсь к страшному, знаю, к чему, и тем не менее — скорей бы конец... Хоть какой-нибудь...

После первой встречи с этой рукописью мы прочитали в самиздате и тамиздате множество разных воспоминаний о лагерях — документальных и беллетризованных, наивно-бездарных и высокоталантливых. В «Крутом маршруте» теперь уже не осталось эпизода, мысли, настроения, факта, которые не

перекликались бы с фактами, мыслями, эпизодами, настроениями других книг. И об Архипелаге Гулаге я, не побывавшая там, словно бы теперь знаю так много: арест, обыск, допрос, камера, лагпункт, этап, нары, придурки, вертухаи. Все эти и многие иные слова того мира прочно вошли в наш быт, в сознание, в подсознание.

... Перечитывая «Крутой маршрут», не могла оторваться. Нет, я ничего не знаю. И совершенно безразлично, есть ли на свете другие книги об ЭТОМ.

Она как-то сказала: «И всех-то нас история запишет под рубрику «и др». Ну, Бухарин, Рыков и др». Нет, неправда. Она, Евгения Гинзбург, написавшая «Крутой маршрут», она — единственная.

Живу ее жизнью. Теряю. Обретаю. Познаю безмерность горя и унижений.

Если все это так мне передается, так сохранилось, значит, это не просто документ, не просто «Хроника времен культа личности». Такое под силу только искусству. И неприязательность, общедоступность, наивность — это не слабости книги, это ее особенности.

... В начале 60-х годов мы надеялись, что вслед за «Иваном Денисовичем» выйдет и «Крутой маршрут». В том экземпляре «Крутого маршрута», который я перечитывала в 1977 году, вскоре после смерти автора, в главе «Седьмой вагон» — одной из сильнейших — меня что-то задевает. Не сразу соображаю, почему «Евгения Онегина» в этапе декламирует не Женя, а некая Шура (она же «Васькина мама»). И вдруг словно озарение: глава готовилась к печати в СССР. Поэтому имена вымышленные...

... Увяли оттепельные надежды. Перестали писать в справочниках, в юбилейных изданиях «погиб в годы культа личности». Не воплотилась мечта Евгении Семеновны, что ее внук в 1980 году прочтает советское издание «Крутого маршрута».

Но книга существует. Слово сильнее череды наших бессловесных вождей. Победила она!

7

Во Львове она читала нам свои стихи — они казались посредственными.

В Москве, в пору ее большой славы, работники издательства «Молодая гвардия» предложили ей найти себе тему для книги в серии «Жизнь замеча-

тельных людей». Она назвала несколько имен, в том числе забытую поэтессу Мирру Лохвицкую. Быть может, и стихи Лохвицкой вместе с Надсоном — тоже в истоках ее собственных поэтических опытов.

В начале семидесятых годов в Израиле вышла антология «Русские поэты на еврейские темы». Составители включили стихи на библейские темы, в книге представлены стихи едва ли не всех русских поэтов за три века — от Державина до Слуцкого.

Есть там и одно стихотворение Евгении Гинзбург:

... И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы,
И голос сорвется, слабей:
— На будущий в Ерусалиме!
... Такая уж, видно, порода!
Замучены, нищи, гонимы,
Все ж скажем в ночь Нового года:
— На будущий — в Ерусалиме!

Она сочинила это стихотворение накануне Нового, 1938 года в Ярославской тюрьме. Прочла сокамернице. Ерусалим был условным — символом свободы.

Она обрадовалась публикации, показывала антологию друзьям и знакомым. И удивлялась — издатели сборника, видно, восприняли буквально то, что для нее было поэтической метафорой.

Она не только не чувствовала, не создала себя еврейкой, но даже и говорила:

— У меня никогда не было и не могло быть романа с евреем. Потому и в вас, Левочка, я влюбиться не могла бы...

— Женечка, вы просто антисемитка, расистка.

(Ни когда она сочиняла эти стихи, ни когда читала нам их во Львове, ни когда увидела напечатанными в Израиле, — ни она — да и никто другой? .. не могли себе представить, что метафора реализуется. Начиная с 1973 года и ей пришлось прощаться с друзьями, со знакомыми, уезжающими в Израиль.)

8

Л. Ее сердили недобрительные отзывы о зарубежных выступлениях Солженицына, Максимова, Коржавина.

— Ну и пусть они иногда преувеличивают. Это естественно. У них праведный гнев. Они пытаются объяснить этим западным идиотам, что те предают нас и губят себя. Ну и пускай Генрих Бёльль недоволен. Он ведь тоже ничего не понимает. Добрый, наивный немец. Я его очень люблю. Но он не способен понять ни Володю, ни Александра Исаевича, — он не испытал того, что испытали они и мы. Он только читал про тюрьмы, этапы, Колыму, Воркуту. Он добрый, всем сочувствует — и чилийцам, и вьетнамцам, и разным неграм. А для нас это несравнимо...

— ... Володя Максимов — добрый, душевный человек. Он так хорошо говорил со мной. Он по-настоящему любит Васю. И «Континент» — хороший журнал. Отличный. Володя столько рассказывал о новых планах. Нет, нет, вы несправедливы к нему. И Генрих несправедлив. Дались ему эти Шпрингер и Штраус. Никакие они вовсе не фашисты. Это леваки их так обзывают. И вдруг — Шпрингер издает книги и журналы всех направлений. И он помог нашим издавать «Континент». Почему же ваш Брандт этого не сделал? Потому что он боится рассердить наших правителей. Как же, им важнее всего разрядка, торговля. Шпрингер молодец, не побоялся...

Володя Максимов называет братьев Медведевых агентами КГБ. Этому я, разумеется, не верю. Ройчик — наивный, хороший человек. Я его люблю, но с ним совершенно не согласна. Он все еще живет в мире марксистских иллюзий и догм. Конечно, нашему правительству его точка зрения ближе, чем сахаровская. Поэтому его меньше преследуют. Это плохо, когда Рой нападает на Солженицына. Тот делает великое дело. И он так одинок. Я сама знаю, что в «Архипелаге» есть и неточности, и ошибки. Ни о ком нельзя говорить: «комически погиб». Но ведь, в общем-то, «Архипелаг» — великая книга, грандиозная. Он там и на меня несколько раз ссылается. И вас упомянул. И в «Теленке» он очень дружелюбно о вас писал. А вы к нему несправедливы и огорчаете меня больше, чем Рой. Тот ведь с ним никогда не дружил. Нет, я не могу с этим согласиться. У нас у всех один противник, страшный противник. Он весь мир давит. И нас готов придушить. Зачем же еще между собой враждовать?

— Вашу книгу о Джоне Брауне,* Раечка, я прочла с интересом. Многие узнала. Но герой мне отвратителен. Он — настоящий революционер. Ни себя, ни других не жалеет. Вы слишком снисходительны к нему. Нет, таким людям нельзя прощать. От них все несчастья. Ведь негров все равно в конце концов освободили бы безо всяких кровопролитий, и уж, конечно, без этого изувера Джона Брауна. А впрочем, мне ни до каких негров дела нет. Я была в рабстве похуже, чем дядя Том.

9

Она была доверчива. Она доверяла и малознакомым, и часто просто случайным собеседникам, если они ей нравились. Она часто повторяла, что ложь считает одним из самых непростительных смертных грехов.

Но сама она могла настолько увлечься вольным полетом воображения, что иногда беглое наблюдение, недослышанные или недочитанные слова преобразались в ее сознании весьма причудливо.

Один из наших общих друзей сказал мне:

— Оказывается, ты скрываешь, что крестился. Евгения Семеновна говорит, что ты уже давно принял православие. И только не хочешь этого афишировать.

Вскоре я услышал, что еще несколько человек говорили о том же, ссылаясь на нее. Обойтись без выяснения стало невозможно:

— А знаете, Женечка, обо мне опять диковинные слухи пускают. В прошлом году один деятель из Инокомиссии доверительно рассказывал везде, что я — стукач и, мол, только потому мне спускают все грехи, даже не исключают из Союза писателей; однако Солженицын и Бёльль узнали и поэтому якобы порвали со мной отношения. Потом кто-то в Союзе и, кажется, в Гослите уверял, что я подал заявление на отъезд за границу. А теперь говорят, будто я принял православие и тайно хожу к исповеди.

— Но вы же сами говорили, что вы крестились!

— Что за бред?! Где? Когда? Кому?

— Да вы что, забыли? Вы же мне говорили. У нас дома. Я заметила над

* «Поднявший меч», 1975.

вашей постелью крест. Вы сказали, что это подарок Игоря Хохлушкина. И потом мы очень хорошо поговорили о Боге, о религии. Ведь вы уже с детства предрасположены к православию, я читала ваши воспоминания. И не пойму, чего вы боитесь — вы беспартийный. Это мне приходится скрывать, что я — верующая католичка. Ведь я состою в рядах. Мои черные полковники разорвали бы меня на части. Но католическая церковь разрешает тайное исповедание.

— Женечка, опомнитесь! Да если бы я стал верующим, я бы уже и вовсе ничего не боялся. И, конечно, ни от кого не стал этого скрывать. И менее всего от друзей, от близких.

— Я никогда не врала. Может быть, вы тогда хотели пошутить. Но такие шуточки...

... недопустимы. Согласен. И никогда так не шучу. Кажется, я догадываюсь, как у вас могло возникнуть такое представление. Вероятно, я сказал вам, — я это уже не раз говорил многим, — что больше не считаю себя атеистом. Я убедился, что наш атеизм, наше воинствующее безбожие — самая вредная, самая изуверская из всех религий. Но я не стал верующим. Я агностик. Не верю в бытие Бога и не могу, да, впрочем, и не хочу доказывать его небытие. Но я убежден, что если существует некая высшая сверхреальная сила, то эта сила настолько превосходит всех смертных людей, что никто не вправе считать себя ее представителем, ее единственно справедливым толкователем. И уж, конечно, не вправе именем Бога устанавливать законы, преследовать иноверцев и отступников... Христианство мне ближе других вероучений. Никогда не стану утверждать, будто оно лучше, справедливее всех. Если б я вырос в Индии или Китае, вероятно, я предпочитал бы буддизм или даосизм. Но уж так я воспитан, что и нравственно и культурно-исторически мне ближе всего христианство. И я думаю, что христианские нравственные принципы насущно необходимы сегодня для того, чтобы не погибло человечество... А православию мне действительно близко с детства. Няня учила меня молиться на ее иконы, водила в церковь. Мы вместе пели «Отче наш» и «Богородицу», благоговейно слушали колокола Софийского собора, Печерской лавры. Не меньше радуют меня

творения католического искусства — Сикстинская Мадонна, мессы, реквием... В Штеттинской тюрьме я случайно нашел в мусоре возле котельной католический молитвенник; выучил наизусть «Патер Ностер», «Аве Мариа», «Кредо», повторял в темной одиночке. И когда во Львове в костеле «Катедра» пел мощный хор с органом, я был так потрясен, что и сейчас не найду слов, чтобы это описать. Но все же русские церкви, русские молитвы, русские иконы и самые наивные народные обычаи — словом, эстетика русского православия мне сердечно ближе. Они и сейчас волнуют меня сильнее, чем Бетховен и Чайковский... Вот это я и говорил вам и не только вам. Но вы услышали несколько произвольно, и ваша творческая фантазия экстраполировала недослышанное в том направлении, по которому пошли вы сами...

— Не знаю, не знаю. Должно быть, я и впрямь на старости лет дуреть стала; маразм начался.

Больше об этом не говорию. Только несколько раз, по другим поводам, она замечала с иронической интонацией:

— Да, да, вы же агностик... Ну, конечно, этого вы, как агностик, не можете признать...

10

Дважды мне довелось работать с ней вдвоем.

Мы переводили письма Шумана. Переводили каждый отдельно свою часть, а потом сопоставляли, проверяли, правили друг друга.

Она работала так дотошно, так скрупулезно добросовестно, как мало кто из профессиональных переводчиков. Договор с издательством был на мое имя; ей не приходилось тревожиться за свою репутацию... Тем не менее она упрямо возилась с каждой сомнительной строчкой, разыскивала справочники, мемуары современников, музыковедческие и исторические работы.

— Нельзя переводить, если не знаешь, о чем идет речь. Вот в нескольких письмах назван господин Н. Как же я могу идти дальше, не зная, кто этот человек? В каких отношениях он с автором, с адресатом? Без этого я не могу правильно передать интонацию письма. Нужно знать побольше обо всех людях, которые здесь упомянуты. И тем более необходимо представлять себе музы-

кальные произведения, о которых идет речь. Иные он характеризует подробно, иные только называет или на что-то намекает. Сегодняшний читатель должен понимать, что значила для автора эта соната, эта песня, кто писал стихи, которые он кладет на музыку...

Она проверяла и перепроверяла себя и меня. Иногда я раздражался, когда она подолгу топталась на каком-нибудь идиоматическом обороте, разговорном речении, старомодно-изысканной фразе или намеке музыкального критика. Но она была неумолима.

— Ну и пускай комментариями занимается составитель, пускай, это его дело. Но мы с вами должны сами все понимать.

Она привязалась к автору писем как-то непосредственно, по-женски.

— Сначала она просто жалела его, беднягу. Явный психопат. И характер, как у сварливой старой девы: тот его обидел, этого он ругает и сам признает, что за пустяки. Иногда непонятно, почему расстроен. А постепенно привыкла к нему, даже полюбила. Ведь какая несчастная жизнь. Унизительная бедность. Жена все время болеет. Каждый грош должен высчитывать, вымалывать прибавку. И сочиняет гениальную музыку! Вы видите, я достала ноты его фортепианных пьес, вчера пробовала играть. Нет, нет, при вас играть не буду. Я уже совершенно разучилась, отвыкла. Пальцы как деревянные. И устаю быстро. Для себя еще могу. Потому что вижу ноты и, как бы вам это объяснить, — слышу не то, что брэнчу, а то — как это должно звучать. Слышу внутреннюю музыку. При вас я буду играть хуже и уже сама ничего не услышу... Но теперь мне стало интересно переводить. Иногда так обидно, даже больно за него, когда он делает глупости, доверяется негодяям. Так жаль его несчастную жену, его самого...

Потом мы переводили тексты Брехта к балету «Семь смертных грехов». Это был своеобразный «частный» заказ. Одна московская артистка хотела поставить этот балет с песнями и собиралась исполнять главную роль. Мы с ней были знакомы, и она упросила меня перевести срочно, сверхсрочно, уверив, что уже обо всем договорилась в реперторме, в Министерстве культуры, в Главконцерте; переводчикам гарантированы самые выгодные условия, важно только скорее, скорее, а тем

временем оформят договор, остались какие-то незначительные канцелярские детали...

Текст песен должен был точно соответствовать музыке. Мы переводили каждую песню сперва на глаз, то вдвоем, то порознь, а потом Евгения Семеновна садилась к пианино, и строчку за строчкой мы испытывали, напевая, переделывали, перемонтировали. Без нее я просто не смог бы сделать эту работу.

Иногда спорили, то шутя, то сердито, из-за отдельных строф или строчек. Она не позволяла ни мне, ни себе никаких попущений, никаких поблажек.

Работали мы в точно определенные часы, я не смел опаздывать ни на минуту, приходя, уже заставал ее за пианино.

Иногда я упрекал ее в крохоборстве: уж слишком придирчиво она оспаривала какую-нибудь мелочь. Позднее я стал понимать, что и это «крохоборство» было одной из основ ее душевной устойчивости.

(Перевод мы сделали в срок. Но заказчица, раньше звонившая по дватри раза в день, прибегавшая к Евгении Семеновне и осыпавшая ее комплиментами, словно забыла про нас. А когда я наконец дозвонился до нее, она сухо ответила, что неожиданно все расстроилось, репертком не утвердил постановку, конечно, она может оплатить наш труд из своих денег, «назовите сумму». На этом месте я не слишком любезно попрощался.)

Но Евгения Семеновна не пожалела, что мы работали впустую.

— Интересно было, я и не подозревала, что Брехт такой хороший поэт... Я впервые переводила песни.

11

Жаркий майский день. Мы втроем в Тимирязевском парке. Нашли тихий уголок, несколько пней. Я прочитал последний отрывок из своих воспоминаний,* — как везли из тюрьмы в тюрьму.

Евгения Семеновна слушала внимательно, участливо.

— А нас, четверых, везли из Казани в Москву в четырехместном купе. Даже малину разрешили купить на остановке.

* Глава «В этапе» из книги «Хранить вечно». Ардис, 1975.

Зато уже в трюмах «Джурмы» было пострашене всех ваших столыпинских вагонов.

— . . . Мне, в общем, нравится, но зачем вы позволяете себе грязную брань? Нет, не согласна, что о блатных нужно писать их же языком. Ведь этим вы унижаете себя. И зачем вы рассказываете обо всех ваших женщинах? Ну, вот спасибо, «не обо всех». Значит, все-таки считаете нужным о чем-то умалчивать?! Нет, такая откровенность мне не по душе. Я воспитана в духе девятнадцатого века. Местный колорит, характерное своеобразие воровской речи можно передать и без похабщины, без мата. Я себе этого не позволяю. Ну, вот написала я, как у нас запрещали на лагпункте «связи зэка с зэкою». Пишу же об арестантской любви, о ворах, воровках, проститутках, но пишу не на их языке. . . . Можете называть меня моралисткой, пуританкой. Нет, никакое это не ханжество. Это у вас неразборчивость, всеядность. Вы слишком снисходительны к тем интеллигентам, которые стараются подделываться под блатных. . . . Пускай даже Пушкин и Лермонтов позволяли себе вольности, по тем временам совсем непристойные. И Некрасов, и Лев Толстой. Таким великим прощается то, чего нельзя прощать нам, рядовым.

Ее стремление к целомудренной чистоте языка было сордни ее безукоризненной чистоплотности и дотошной аккуратности. Утренний душ был ей жизненно и, можно сказать, ритуально необходим: никакие хвори, ни жар, ни сердечные слабости не могли помешать.

— Да, да, я педантка. Потому что не могу жить без строжайшего порядка, без Орднунга. И не думайте, что это с тех пор, как была замужем за немцем. Когда мы познакомились с Антоном, то ему, кажется, прежде всего нравилось, что я, медсестра, так неукоснительно точно выполняла все назначения и придирчиво следила за чистотой. И чтоб все было на своих местах. А вы ведь знаете, что такое лагерная больничка. И вообще, каково соблюдать чистоту в тюрьме, в этапе. Но я с детства ненавижу расхлябанность, грязь, разгильдяйство. А сейчас я просто не могла бы существовать, если бы не строжайший режим во всем, безо всяких исключений. Вот я люблю гулять с Тамарой Мотылевой еще и по-

тому, что она всегда точна. Она тоже любит порядок. И меня понимает.

Если гость, приглашенный к определенному часу, опаздывал, его встречали строгие укоры.

— Вы обманули меня на целых двадцать минут. Есть старая поговорка: «Точность — это вежливость королей». После свержения монархии кое-кто позволяет себе плевать на всякую точность.

Когда она брала у нас книгу, журнал или рукопись, то возвращала неукоснительно в условленный день. И того же требовала от своих «должников». Точнейшая точность была для нее одной из основ независимости. И свою независимость, самостоятельность она ревниво отстаивала в любых мельчайших мелочах.

Она не позволяла платить за себя даже в метро.

— Оставьте светские ухватки. Мой пятак не хуже вашего. Нет, в такси я не поеду: у меня нет лишних денег, а на ваши я кататься не буду.

Последние годы она зимовала в Переделкине, снимала маленькую теплую комнату в большом бревенчатом доме в глубине сада. В комнате рядом жила писательница-немка со взрослой дочерью.

Евгения Семеновна жаловалась:

— Они обе такие рассеянные, что мать, что дочь. Еще говорят, что немцы аккуратны. Я все время убираю за ними. То на кухне, то в ванной, то в прихожей. И в нашей общей большой столовой обязательно что-нибудь забудут. И никогда не закрывают двери.

Соседка ее почтительно боялась и жалела. Знала о ее болезни. И только самым близким друзьям поверяла свое смятение:

— Это просто нефосможно. Она сердится на каждая мелочь. И начинает говорить, говорить. Или сама убирает, но так демонстративно, такая сердитая. Вчера говорила — в ванная не так лежит мыло. Сегодня — на кухне не так стоит чайник. Я не хочу дискуссий, не хочу ссор. Она такая больная. Я вижу, как она мучается. И, значит, всегда я виновата или моя Нинка.

Когда мы жили в Переделкине у Сары Бабеншевой, мы по вечерам гуляли с Евгенией Семеновной. Однажды Р. спохватилась, что, уходя, мы оставили на плите кастрюлю с супом, забыли выключить газ. Р. побежала стремглав.

К счастью, все обошлось испорченной кастрюлей — прогорело дно.

Евгения Семеновна негодовала:

— Этого я бы вам никогда не спустила. Сарочка воистину святая. Я бы после такой истории просто не пускала бы вас на кухню.

Она говорила об этом долго, серьезно и через несколько дней вспоминала опять. И совершенно не могла понять Сару, которая каждый раз, смеясь, отмахивалась.

Опрятность и упорядоченность были ей неотъемлемо присущи и как писательнице.

В ее прозе глубоко трагедийное художественное повествование безглаголитивно обтекает грязные пороги, зато иногда оно вспенивается такой старосветской патетикой и сентиментальностью, которые напоминают не только о стиле великих авторов прошлого — русских и зарубежных, но родственны и вторичной беллетристике начала века.

12

Р. В моих отношениях с Е. С. настало время отчужденности. Моя влюбленность в нее не перешла в прочную дружбу.

В октябре 74 года я пришла к ней после того, как мы долго не виделись. Пришла, уже зная, что у нее рак.

Она сидела на диване, совершенно на себя не похожая, растерянная. Волосы распущены, халат не запахнут, глаза в слезах.

Она рассказала, что, обнаружив опухоль в груди, решила скрыть это ото всех.

— Пусть рак. Не пойду к врачу. Не дам резать.

Тогда она уверенно говорила о раке. А потом, почти три года, в больнице и дома, она доказывала, убеждала, что это была доброкачественная опухоль, а теперь лучевое отравление. Возникла та защитная пленка, непостижимая рассудком, которую ткет сама болезнь.

И она уже до конца была как всегда причесанной, подтянутой, прибранной.

Но кто знает, что у нее было на душе?

Из дневников Р.

«2 октября 1975 г. Днем у Е. С. в Боткинской больнице. Идти боялась. В раздевалке столкнулась с Е. Евтушенко. Он тоже к ней. Я обрадовалась:

он заслонит мой страх от нее, а от меня ТО СТРАШНОЕ.

Он умолкал, только когда заговаривала она, а она говорила много, возбужденно.

— Моя жизнь складывается так, что я, можно сказать, прорабатываю Солженицына в обратном порядке: сначала был Архипелаг Гулаг, а теперь вот — Раковый корпус. Но диагноз так и не известен.

— ... Вы читали его поэму «Прусские ночи»? Потрясающая мера самооблачения. А стихи плохие — альбомные. Я такие писала в лагере. Чтобы запомнить ... Но теперь Александру Исаевичу все дозволено. Хоть голым по улице ходить. За то, что он сделал, ему все обязаны низко поклониться ...

— ... Здесь многое похоже на лагерь, только в лагере санчасть почти всегда заодно с тюремщиками. Мне после любых осмотров там писали «на общие» ...

Я вчера попросила нянечку поправить постель, слишком жесткая. А она мне говорит: «Вы привыкли на пуховиках».

Тут уж пришлось ответить: «Я привыкла на деревянных нарах».

... У Быкова нет своего слога, только сюжет. А вот Искандер написал книгу «Удавы и кролики» — гениальную. Ее будут читать, как «Маугли».

Я все болею, болею, но пока не замечаю упадка умственной деятельности. Память не слабеет.

Мы с Евтушенко наперебой громко подтверждаем. Тем более, что оба вполне искренни.

Она ему говорит:

— Я хочу, чтобы вы с Васей помирились.

— Вася передо мной виноват, поэтому трудно.

Мы с ней пытаемся убедить его: в ссорах друзей трудно определить вину каждого.

Она добавляет:

— А вы не считайтесь, в чем он виноват, простите ему ...

Евтушенко не возражает, заговаривает о другом.

— А я вашу книгу помню наизусть: «Коммуниста Италиана».

И я начинаю вспоминать эпизоды.

Слушает нас с удовольствием. Это ей никогда не надоедает. Пришел Вася. Они с Евтушенко вежливо здороваются, вежливо обмениваются информацией.

... А ко мне все более властно возвращается ощущение того, как много значила для меня она сама и ее книга.

13

Из-за границы в 1976 году она вернулась помолодевшей. Словно выздоровела. Весь вечер рассказывала о Париже, о Кельне, о Ницце. Мы уже не первые слушатели, рассказ «обкатан». Но ни восторг, ни изумление еще не утрачены.

— Пен-клуб устроил прием в мою честь. Был цвет французской литературы — Клод Руа, Эжен Ионеско, Пьер Эммануэль. Я давала автографы. На столе — большая стопка книг, новое издание «Крутого маршрута». Когда нас фотографировали, я попросила, чтобы Васю не снимали на фоне этих книг.

Пьер Эммануэль такую речь про меня произнес, — повторять неловко. Вообще по-французски все получается тоньше, изящнее. И такой умница — ничего о политике, только о художественных достоинствах, о языке.

В Пен-клубе принимали писательницу Евгению Гинзбург с сыном. А на празднике в «Юманите» почетным гостем был советский писатель Василий Аксенов с престарелой матерью (кокетливо отмахивается от наших возмущенных возражений).

Там на празднике ко мне тоже подошли разные люди и шептали на ухо: «Мы читали... Мы восхищались... Так прекрасно... Так ужасно...» И я поняла, что у них то же самое, что у нас, своя цензура, свое начальство. И они тоже боятся начальства, боятся наших.

Эту часть рассказа заключает гневно: «Ненавижу левых. Всех левых ненавижу...»

На столе книги с автографами. Французские и русские. Тоненький сборник стихов Ирины Одовецкой.

— ... Старые русские эмигранты все читали мою книгу. Такие наивные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские слова вставляют.

— ... Опасалась, как стану объясняться. Но французский вспомнила почти сразу. Откуда-то из глубин поднялись слова. Болтала легко, сама удивлялась.

В комнате — на полу, на диване, на стульях — распакованные и нераспакованные чемоданы, коробки, свертки. Еще не все подарки розданы. Привезла

родным, друзьям, знакомым. Больше всего дочери.

Тоня приходит при нас. Рассказы прерываются, начинается праздничная суматоха примерок. Рады и мать, и дочь, и мы, зрители.

Осторожно спрашиваем про врачей — ведь эта поездка официально называлась «для лечения». И Вася сопроводил мать, ехавшую лечиться.

Чаковский, давая ему командировку «Литгазеты», патетически заметил: «Подписываю только потому, что помню о твоей матери».

На наш вопрос о врачах отвечает раздраженно:

— Не ходила и не собираюсь. Я еще здесь заранее предупредила Васю: никакого лечения. Еду смотреть. Видеть людей. Радоваться.

После краткой вспышки раздражения вновь улыбается:

— Вася взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться (мы смеемся — оборonica чистоты речи снисходит к американизму).

— ... Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так далеко, что идем два или три квартала.

— ... Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала.

— ... В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня там ведь шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть. Я и не думала, что придется работать. Хорошего экземпляра второй и третьей части не оказалось, пришлось править какую-то слепую копию. Но я старалась, чтобы хоть отпечаток не было.

Вспоминаем, как она огорчалась изданию шестьдесят седьмого года, где полным-полно опечаток.

Спрашиваем, будет ли она писать об этой поездке?

— Ну, что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывало в Париже, и какие... Но я вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы до Сены».

Василий Аксенов рассказывал: «Мама сначала обрадовалась, что можно заказывать завтрак в номер. «Давай попроси завтрак в камеру!» Но потом решительно отказалась: «Нет, нет, я видела, как они подносы ставят на пол».

У всех, у всех побывала (чуть по-

нижая голос) — виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткингом. И все были к ней так приветливы.

Гриша Свирский звонил по телефону, приехать не мог — дорого.

— Обратный билет у нас был на поезд Париж — Москва. Но Вася сказал: «Поедем машиной до Кельна. По-видаем Бёлля».

Они познакомились еще весной 70 года, когда Бёлль с женой были в Москве. Он обращался сперва к ней «фрау Гинзбург», потом «фрау Евгения», наконец просто «Эгения» или даже «Шенья». Она уверяла, что забыла немецкий, но достаточно свободно рассказывала о лагере, о немецких книгах, которые любила в детстве.

Тогда в 1970 г. Евтушенко пригласил на ужин с Бёллем Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Таню Слуцкую, Окуджаву, а также Евгению Семеновну и нас.

Потом на улице, пока Вася искал такси, Бёлль сказал:

— Это была встреча с молодыми . . . А ведь молодыми по-настоящему, wirklich jung я могу назвать только вас. И всех моложе вы, Женя.

— Вот уж не ожидала, что Генрих Бёлль говорит комплименты старым женщинам.

— Я совершенно не умею говорить комплименты. Это правда. Я слушал, смотрел и думал: если бы я никого не знал из этих людей за столом и мне сказали бы, что двое из них долго пробыли в тюрьме, в лагере, угадай — кто? Ни на миг не подумал бы, что это вы, Женя, или этот бородатый пьянчуга . . .

Каждый раз, когда он бывал в Москве, они встречались уже как старые друзья. И в письмах к нам он неизменно передавал ей самые нежные приветы.

— . . . Я сначала испугалась: как это так, билет на поезд от Парижа, а мы будем садиться в Кельне. Но там быстро привыкаешь, распускаешься. И страхи быстро проходят. Я согласилась. Только очень тревожилась, как мы успеем: поезд в Кельне всего шесть минут, а у нас столько чемоданов . . . Генрих успокаивал: «Шенья, все будет ин ордаунг . . .»

В Лефортове в 1937 году она считала себя смертницей, ждала расстрела: «Тогда мне представлялась вся осталь-

ная земля. Я ее никогда не видела и не увижу».

Увидела. Так они встретились — Париж и колымчанка. И это один из неожиданно счастливых поворотов, присущих ее жизни и ее прозе.

Что в ней изменилось? Ощутила реальность славы.

В 67 году слава была заочной. И та ей несколько вскружила голову. А эта, воспринятая непосредственно, все, что она увидела, услышала, осознала, — действовала совсем иначе.

Она стала мягче. Щедрее. Подобрела к людям.

Как это возникло? На пути из Парижа? Или в предчувствии иного, неотвратимого пути?

14

Л. После возвращения из Франции она почти до середины зимы была бодрой, реже жаловалась на усталость, на боли в сердце. Хотелось верить в чудо, так же как весной 65 года мы верили в то, что чудом излечится Фрида Вигдорава.

В феврале начались боли в ногах. Такое уже бывало и в 75 году. И тогда врачи говорили, что это метастазы в костях, в суставах. А потом наступило облегчение.

Она продолжала жить в Переделкине. И дважды в день выходила на крыльцо.

Одевалась медленно, постанывала. С трудом натягивала валенки. Но помощи не принимала.

— Не надо, не надо! Мне легче, когда я сама. Я чувствую, когда больнее. Ох, совсем обезножела! Господи, что это за проклятая болезнь . . .

Ох, где мои резвые ноженки?! Вы слышали сегодня «Голос»? Картер опять что-то говорил о правах человека. По-моему, это одна только болтовня. Они говорят свое, а здесь делают свое. Сажают, сажают . . . А про Орлова, про Алика уже ничего не говорили. Нет, нет, никто не помогает. Вот так же и мне никакие врачи не помогут. И пожалуйста, не спорьте. Все это ваш неисправимый оптимизм . . .

Но ей нужно было, чтобы с ней спорили. Она отмахивалась, когда я повторял, что она опять поедет в Париж, и на этот раз полечиться, и что Картер серьезно решил сочетать нравственность с политикой.

С начала апреля она едва могла дви-

гаться. Однако в часы, установленные для прогулок, одевалась и сидела на крыльце, закутанная шубами, пледами. Сара каждый день приходила к ней, готовила, убирала, выводила на «сидячую» прогулку.

Врачи предписали снова облучение, обещали, что это снимет боль. Она согласилась, но лишь с тем, чтобы оставаться в Переделкине, чтобы сын каждый день возил ее на сеанс и привозил обратно.

— Без воздуха я пропаду. Воздух — мое главное лекарство.

После первых сеансов ей стало легче. Мы в апреле уехали на юг. Когда вернулись через месяц, она уже не выходила из московской квартиры.

Пришли к ней. Показалось, что не виделись годы. И в сумраке зашторенной комнаты было заметно, как она похудела. Нос и подбородок заострились, резче проступали скулы.

— Видите, что со мной сделали? Наверное, узнать нельзя. Я уже и в зеркало боюсь смотреть. Залечили эти полгода врачи. Они меня отравили рентгеном. Облучали, будто у меня рак. И теперь уже ясно — вызвали лучевую болезнь. Я едва могу встать. Не выхожу из дому. Ничего не ем . . . Расскажите, как ездили, что в мире делается.

Наши рассказы она едва слушала. Снова и снова говорила о болях.

Потом за три дня она изменилась еще резче, чем за месяц. Узнавались только глаза и голос. Поцеловал ей руку: сухая, тоненькая кожа на тонких косточках. И Рая тоже поцеловала ей руку. Впервые.

Почти каждый вечер приходила кроткая, маленькая седая женщина, ее приятельница, юристка. Она стала неутомимой сиделкой. Евгения Семеновна была к ней очень привязана. Но иногда раздражалась, когда та сменяла Васю. Она не хотела расставаться с сыном. Ни на час. И никому не позволяла оставаться на ночь.

— Я не могу спать, если еще кто-то есть в квартире.

Лишь после того, как утром, пытаясь дойти до уборной, она упала в коридоре, потеряв сознание, она уже не сопротивлялась круглосуточным дежурствам.

— Я умираю, Боже, почему так мучительно? Неужели я мало страдалась? Вот считалось, что у меня сердце

плохое. Но почему же это сердце еще выносит такие муки? . . . У Антона всегда был при себе яд. Какая я дура, что забыла об этом. Если вы настоящие друзья, достаньте мне яду.

Узнав, что накануне она говорила о священнике, и слушая эти жалобы, я сказала:

— Женечка, а может быть, вам помогла бы молитва? Хотите, я приглашу священника?

— Священника? . . . Но ведь я католичка. А попа-иностранца не хочу. Хочу по-русски молиться, а русских католиков нет.

— Что вы, друг мой? И у католиков, и у православных один Бог, один Христос. Что могут значить церковные различия для настоящего христианина? Православный священник охотно помолится с вами.

Она отвернулась к стене. Долго молчала. И внезапно своим прежним голосом, только чуть глуховато-напряженным:

— А может быть, еще подождем?

— Женечка, вы меня неправильно поняли. Я говорю о молитве за здоровье. Вы ведь знаете нашего друга Игоря. Этой зимой он очень тяжело болел. Некоторые врачи уже объявили положение безнадежным. Его навещал священник. Они молились вместе. И вот как раз Игорь вчера был у нас, и он хочет привести к вам священника.

— Хорошо, хорошо. Только не сейчас. Потом, когда чуть легче станет. Сейчас в меня злой дух вселился. Я всех ненавижу.

— Вот молитва и поможет вам изгнать злого духа и выздороветь.

— Какое выздоровление? Вы что, не видите — я умираю.

Священник Глеб Якунин пришел через два дня. Она стала спокойнее. То ли от молитвы, то ли от того, что начали впрыскивать пантапон. Мне больше не пришлось говорить с ней. Когда мы заходили, она была в забытьи.

Вечером 24 мая, казалось, наступило облегчение. Она сказала:

— Вася, ты не забудь, нужно заплатить за дачу. Может быть, хоть в августе я перееду. Майя, почему вы не ужинаете? Возьмите в холодильнике икру. Не начинайте новую банку, там есть открытая.

25 мая она умерла.

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СОБЕСЕДНИКОВ АХМАТОВОЙ: ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

В стихотворении 1945 года «Меня, как реку, жестокая эпоха повернула...» Анна Ахматова писала:

О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколькo я друзей
Своих ни разу в жизни
не встречала...

К области этих «невстреч», кажется, можно отнести то обстоятельство, что на трудных дорогах XX века Ахматова, говоря метафорически, разминувшись и с Николаем Бердяевым.

Выдающийся русский философ Николай Александрович Бердяев (1874—1948) в 1910-е годы покинул Петербург для Москвы, откуда был выслан за границу осенью 1922 года в числе большой группы представителей русской интеллигенции. Он стал наиболее влиятельным русским философом в Европе, почти все его книги были переведены на европейские языки. После окончания второй мировой войны Бердяев занял особую позицию в среде русских эмигрантов. Он объяснял ее:

«У меня всегда была так называемая «советская» ориентация, несмотря на то, что я всегда очень критиковал и продолжал критиковать коммунистическую идеологию и проповедую свободу. Ничего существенного нового не произошло в моем отношении к Советской России. Советскую власть я считал единственной русской национальной властью, никакой другой нет и только она представляет Россию в международных отношениях. Это совсем не значит, что я все в ней одобряю. Я, в сущности, никакой власти не люблю и никогда не любил великих мира сего. Эмоционально у меня есть анархические сим-

патии. Но это не значит, что я отрицаю необходимость государственных функций в жизни народов. Во мне вызывает сильное противление то, что для русской эмиграции главный вопрос есть вопрос об отношении к советской власти. Между тем как я считаю главным вопросом — вопрос об отношении к русскому народу, к советскому народу, к революции как внутреннему моменту в судьбе русского народа. Нужно пережить судьбу русского народа, как свою собственную судьбу. Я не могу поставить себя вне судьбы своего народа, оставаясь на высоте каких-нибудь отвлеченных либерально-демократических принципов».

К этому периоду и относится ныне публикуемая впервые в нашей стране статья Бердяева, вызванная ждановским постановлением от 14 августа. Повидимому, Ахматова так и не узнала о существовании этой статьи.

Но своего рода духовный диалог Ахматовой с Бердяевым все же состоялся. Это произошло в начале 1960-х годов, когда она внимательно прочитала посмертно изданную книгу Бердяева «Самопознание (опыт философской автобиографии)». После этого в одной из дневниковых записей она назвала Бердяева «историком и гениальным истолкователем десятих годов».

Представляется, что Ахматова имела в виду прежде всего следующее место в бердяевской книге:

«Русский ренессанс связан с душевной структурой, которой не хватило нравственного характера. Была эстетическая размягченность. Не было волевого выбора. Сходства было больше с романтическим движением в Германии, чем с романтическим движением во Франции, которое заключало в себе элемент социальный и даже револю-

ционный. Творческие идеи начала XX века, которые связаны были с самыми даровитыми людьми того времени, не увлекали не только народные массы, но и более широкий круг интеллигенции. Революция нарастала под знаком мирозозерцания, которое справедливо представлялось нам философски устаревшим и элементарным и которое привело к торжеству большевизма. (...) Деятели русской революции вдохновлялись идеями уже устаревшего русского нигилизма и материализма и были совершенно равнодушны к проблемам творческой мысли своего времени. (...) Интеллигенция совершила акт самоубийства. В России до революции образовались как бы две расы. И вина была на обеих сторонах, то есть и на деятелях революции и на деятелях ренессанса, на их социальном и нравственном равнодушии».

Размышления о русском ренессансе у Бердяева далее фокусируются на одной фигуре того времени, но фигуре центральной — на Вячеславе Иванове:

«Это был самый замечательный, самый артистический козер, какого я в жизни встречал, и настоящий шармер. Он принадлежал к людям, которые имеют эстетическую потребность быть в гармонии и соответствии со средой и окружающими людьми. Он производил впечатление человека, который приспособляется и постоянно меняет свои взгляды. Меня это всегда отталкивало и привело к конфликту с В. Ивановым. В советский период я совсем с ним разошелся. Но, в конце концов, я думаю, что он всегда оставался самим собой. Он всегда поэтизировал окружающую жизнь и этические категории с трудом к нему применимы...

В. Иванов был незаменимым учителем поэзии. Он был необыкновенно внимателен к начинающим поэтам. Он вообще много возился с людьми, уделял им много внимания. Дар дружбы у него был связан с деспотизмом, с жадной обладания душами. (...) В. Иванов был виртуозом в овладении душами людей. Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широко благожелательное. Когда я вспоминаю «среды», меня поражает контраст. На «башне» велись утонченные разговоры самой

одаренной культурной элиты, а внизу бушевала революция. Это было два разобщенных мира. (...) Единственное, что верно, так это существование подпочвенной связи между дионисической революционной стихией эпохи и дионисическими течениями в литературе. (...) То двоение, которое обнаружилось у деятелей ренессанса, можно считать упреждением двоения, обнаружившегося в коммунистической революции, в которой трудно отделить свет от тьмы, добро от зла».

Чтение этих страниц возвращало Ахматову к тем временам, когда участники группы акмеистов — Гумилев, Мандельштам и другие — вступили в литературный конфликт со своим бывшим учителем. Ахматова записывает:

«Сейчас, прочитав Б., считаю, что у нас были все основания так относиться к Башне. Очень многое, о чем пишет Б., «двоится», «троится» в моей поэме. Там угодно что-то, может быть, даже главное.

Может быть, никто так глубоко не понял и так тонко и верно не изобразил Вяч. Иванова, как Б. Но говорит о нем с точки зрения современника и не поэта. (Вообще удивительно, как поэзия чужда этому необыкновенному человеку.) Конечно, Вяч. и шармер и козер, но еще больше хищный расчетливый Ловец человеков».

Развенчивать и «судить» эпоху десятих годов всегда находилось много охотников. Много написано и о «суде» над этой эпохой так называемого серебряного века, содержащегося в «Поэме без героя». И, видимо, уместно в нынешнюю юбилейную пору напомнить всем пишущим на эту тему, что если говорить о некоем осуждении, то только в тех категориях и аспектах, которые были предложены Бердяевым.

Как и — несколько позднее — «Записные книжки» Блока, автобиография Бердяева «возвращала» Ахматовой события и имена из ее собственного прошлого. У нас нет сведений о том, что Ахматова и Бердяев видели друг друга. Но у них было много общих знакомых, характеристики которых Ахматова встретила в «Самопознании». Например, участница Цеха поэтов Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, о которой Бердяев писал: «Мать Марию я считаю одной из самых значительных женщин в эмиграции. В ее жизни, в ее судьбе как бы отразилась

судьба целой эпохи. В ее личности были черты, которые так пленяют в русских святых женщинах: обращенность к миру, жажда облегчить страдание людей, жертвенность, бесстрашие». Другим знакомым Ахматовой по Петербургу был филолог К. В. Мочульский, которого Бердяев называет «писателем очень одаренным, обладающим исключительной способностью понимать чужую мысль, ценить творчество другого».

В книге, вызванной к жизни в конечном итоге русским предреволюционным возрождением, Ахматова искала пересечений и совпадений со своей «Поэмой без героя», выросшей из той же эпохи и начатой писанием в том же 1940 году, когда Бердяев писал «Самопознание» («в тот час, как рушатся миры», — говорила Ахматова в стихотворении этого года, невольно вторя бердяевскому предисловию: «На моих глазах рушились целые миры и возникли новые»). Одно из совпадений она отметила в своих записных книжках: строки

Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то «лишняя тень»

Н. А. БЕРДЯЕВ

О ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЕ И ФАБРИКАЦИИ ДУШ

Оружье свободных людей
Свободное слово

Константин Аксаков

Так, как думал в своем известном стихотворении о свободе слова Константин Аксаков, думали все русские писатели, создавшие великую русскую литературу, прославившие Россию более, чем сила и блеск империи. Во времена Николая I была довольно свирепая цензура, но очень глупая, что и было большим благом. Белинский мог проскочить через эту цензуру. Императорская власть не могла руководить думами потому, что весь строй с Петра не был уже цельным и тоталитарным, он уже начал разлагаться и внутренне уже подготавливалась революция. Официальная, отражавшая мировоззрение власти лите-

Среди них «без лица и названья»
Затесалась...

— и признание Бердяева:

«Сны вообще для меня мучительны, хотя у меня иногда бывали и замечательные сны. Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого-то постороннего. Это странное чувство у меня бывало и днем. Мы гуляем в деревне, в лесу или поле, нас четверо. Но я чувствую, что есть пятый, и не знаю, кто пятый, не могу досчитать. Все это связано с тоской. Современная психопатология объясняет это явление подсознательным. Но это мало объясняет и ничего не разрешает. Я твердо убежден, что в человеческой жизни есть трансцендентное, есть притяжение трансцендентного и действие трансцендентного. Я чувствовал погруженность в бессознательное лоно, в нижнюю бездну, но еще более чувствовал притяжение верхней бездны трансцендентного».

Этот заочный диалог с Бердяевым — еще одна из тех переключек «на воздушных путях», которые окружали Ахматову в ее последние земные годы.

Роман ТИМЕНЧИК

ратура была бездарна и даже не могла быть названа литературой. Цельным и тоталитарным был строй Московской Руси, но в ней не было мысли, не было литературы. Мысль и слово родились уже в Петровскую, уже в надтреснутую, критическую эпоху. История не знает настоящей литературы и искусства, которые создавались бы по директивам власти с требованием проводить в художественном творчестве определенное и притом официальное мировоззрение. Это всегда было смертельно для всякого творчества. И особенно смертельно и даже смехотворно, если вы превратите художественное творчество в утилитарное сред-

ство для построения фабрик и изготовления орудий возможной войны.

История с Ахматовой и Зощенко со всеми последствиями для Союза писателей означает запрещение лирической поэзии и сатирически-юмористической литературы. Так называемая чистка идет по всей линии, даже среди музыкантов. Трудно предположить, что лирическое стихотворение Ахматовой может помешать устройству хоть одной фабрики или изготовлению хоть одного танка, но также трудно предположить, что она может написать стихотворение, помогающее умножению танков и фабрик, а вот патриотические стихотворения она писала.

Официальный взгляд на искусство, отразившийся и в письме в «Русские новости», означает возврат на 80 лет назад, к идеям Чернышевского и Писарева. Последний, воюя против «искусства для искусства», требовал от Щедрина писать популярные стихи по естественности. Теперь требуют от искусства, чтобы оно было популяризированной марксистской идеологией. Между 60-ми годами прошлого века, когда господствовал утилитарный и материалистический взгляд на искусство, и нашим временем был культурный ренессанс начала XX века с расцветом поэзии и философии и он утвердил самостоятельную ценность искусства и духовных ценностей вообще. Тогда в России было много творческих дарований, качество почиталось более количества. Сейчас в России есть большой прогресс в смысле социальном и в смысле элементарного просвещения масс — и большой регресс в отношении творчества духовной культуры. Это один из фатальных результатов массового социального переустройства общества. Это будет во всем мире. Можно и должно приветствовать социальные результаты революции и совсем не приветствовать умаления свободы и культурной реакции

Это элементарная истина, что никакое творчество невозможно без свободы. Творчество и есть акт свободы. Творчество духовной культуры никак не может быть организовано по образцу хозяйственной жизни страны или военной казармы. Это было бы смертью творчества. Философская мысль уже не может развиваться в России потому, что допускается лишь официальная идеология диалектического материализма. Коммунистиче-

ский тоталитаризм, который нужно отличать от тоталитарного государства фашизма, формально скопирован с католической теократии и с иезуитского ордена; он походит также на женовскую кальвинистическую теократию. Но и тоталитаризм средневекового католичества все же более допускал многообразие мысли, чем тоталитаризм в Советской России: было много школ, томисты и скотисты очень спорили, были разнообразные формы мистики. Настоящей свободы мысли и творчества католичество не допускало; был и есть индекс, и потому, когда современные католики, уже не составляющие господствующего большинства, кричат о свободе, то это неискренно. Стремление к единству не может исключать многообразие и индивидуализацию, иначе это будет отвлеченное принудительное единство, угашающее жизнь, которая всегда предполагает индивидуализацию. Нельзя насадить принудительную добродетель, как этого хочет, по-видимому, автор письма в «Русские новости», и притом добродетель, которая видит определяющий центр жизни в экономике. Принудительная добродетель может только калечить жизнь. При таком отношении к творчеству можно дойти до героя «Бесов», который сказал: «Мы всякого гения задущим в младенчестве». В старом режиме было обязательное обучение катехизису, бездарному и искажающему христианство. Это не вело к созданию христианских душ, но вело к отпадению от христианства. Такое же значение может иметь и политграмота. Человек так устроен, что без свободы духа он не формируется в известных идеях, которые почитаются за истинные, а или впадает в рабью покорность или бунтует.

Официальная коммунистическая точка зрения на искусство смешивает два разных вопроса. Прежде всего нужно совершенно устранить устаревший спор о чистом искусстве для искусства. Такого искусства никогда не существовало — это фикция. Свободный творческий гений или талант не находится в пустоте, его творческие акты связаны с миром и человеческим обществом, он микрокосм. Если творец хочет выразить судьбу своего народа и разделить ее, то потому, что он внутренне с ней связан, и даже, может быть, более с ней связан, более

есть настоящий народ, чем бескачественная народная масса. О народе мы судим прежде всего по его гениям, по его вершинам, а не по обыденной жизни человеческих масс, по качеству, а не по количеству. Эсхил в известном смысле исполнял «социальный заказ» афинской демократии, но не потому, что получал директивы извне, а потому, что сам был глубиной греческого народа. Вергилий в известном смысле исполнял «социальный заказ» Римской империи Цезаря-Августа, но не потому, что подвергался насилию извне и писал на навязанные темы, а потому, что из глубины своей творческой свободы хотел выразить римское возрождение, к которому стремился и Цезарь-Август. И так всегда бывало. Недопустимо смешивать творческую свободу художника и мыслителя с изоляцией, с индивидуалистической поглощенностью собой, с равнодушием к судьбе мира и народа. И недопустимо смешивать эту внутреннюю необходимую связь с жизнью своего народа с рабством, с насилием над творчеством, с приказом писать на известные темы. Патристическое стихотворение можно написать лишь потому, что поэт горит любовью к родине, а не потому, что в данный момент генеральная линия власти требует написания таких стихотворений. Это так элементарно, что почти неловко говорить об этом.

Основная ошибка заключается в предположении, что можно фабриковать души путем их принудительной организации, что возможно фабричное производство людей. Воля направлена к утверждению единства, монолитности. Но принудительное единство, не обнимающее многообразия и не допускающее индивидуализаций, есть отвлеченное, мертвое единство. Это есть геометрия, а не жизнь. Советы хотят создать общество, в котором не будет эксплуатации человека человеком, и они много для этого сделали. Цель благая, и ей можно только сочувствовать. Но невозможно создание нового социального строя без свободной критики. Полезно припомнить, что Ленин очень резко обличал комчанство и комеранье. Советы хотят создавать не только новое общество, но и нового человека. И тут они сбиваются с пути. Забывают, что приходится иметь дело с живыми душами, а не с геометрическими линиями. Человеческая душа

сложна, многогранна и многострунна. Если вы запретите человеку испытывать печаль и тоску и выражать свои лирические переживания в словах, то вы создадите не нового человека, а автомат.

Это и есть фатальный результат тоталитаризма марксистского мировоззрения. Маркс хотел разоблачить иллюзии сознания, иллюзии религиозные, философские, моральные, эстетические, порожденные экономическим строем, основанным на эксплуатации одних классов другими. Он это делал иногда гениально и не бывал слишком прямолинеен и элементарен. Он даже однажды сказал: «я не марксист». Так и Толстой не был толстовцем. Но Маркс все-таки думал, что экономика есть субстанция человеческой жизни, есть как бы первичная реальность, и из нее определяется вся остальная жизнь людей, их идеология, надстройка. Он часто протворечил себе, и материализм его спорный. Но он дал основание к тому, чтобы считать экономику определяющей всю жизнь, значит, и творчество художественное, творчество мысли, то есть всю культуру. Правда, его можно понимать так, что он хочет освободить человека от власти экономики, но это относится лишь к будущему обществу. Пока в России человек более подчинен экономике, чем когда-либо. Тут мы встречаемся с основным вопросом, вопросом об иерархии ценностей. Духовная культура есть более высокая ценность, чем политика и экономика, которые должны бы были быть послушными средствами. Великая задача состоит в том, чтобы не допускать превращения средства в цели. И это всего труднее в эпоху революций. Но поэтому особенно важно это осознать. Русская душа на протяжении тысячелетия формировалась православной верой, она формировалась в XIX веке великой русской литературой, Пушкиным, Л. Толстым, Достоевским, профетизмом этой литературы, она выражала себя и в течениях русской социальной мысли XIX века, искавшей социальной правды и сделавшей возможным коммунизм, она также выражала себя и в славянофильской мысли и в русской философии начала XX века, она отразилась и в поэзии Блока и в беспокоействе русского ренессанса начала века. Но она не формировалась какой-либо экономикой и

предписанием власти. Поэтому она оставалась свободной душой, несмотря на давление власти. Свободная душа может создавать социалистический строй, но это предполагает и свободу критики и допущение многообразия. Можно призывать смысл революции и сочувствовать ее социальным результатам, можно верить, что Россия и русский народ призваны осуществить социальную правду в мире, можно стоять за самый принцип советского политического строя, можно защищать международную политику России в тяжелый момент ее существования — и вместе с тем не сочувствовать духовно-культурным результатам революции и видеть опасность в формировании рабских душ. Я именно и стою на такой точке зрения и в этом смысле остаюсь верен так называемой «советской» ориентации.

Международное и экономическое положение Советской России очень трудное. Она окружена врагами на Западе, особенно враждебны ей англосаксонские страны. России нужно внутреннее единство, но духовная свобода в стране не только не мешает единству, она именно способствует ему, отсутствие же свободы разделяет и внушает вражду. Антикоммунистический фронт на Западе мешает развитию свободы в России. Тоталитаризм и изоляцию начинают рассматривать как защиту. Но не следовало бы так определять врагами, как не следует слишком преувеличивать количество врагов. Лучше быть свободным в своем самоопределении. Факты гонения на свободу творчества только увеличивают вражду Запада к Советской России, и притом не капиталистических кругов, не трестов, которыми не к лицу защищать свободу духа, а культурной интеллигенции стран Запада, которая, естественно, дорожит свободой мысли и творчества более левых христианских движений и самих рабочих классов. История с Ахматовой и Зощенко, с утеснением кинематографа, театра, музыки, превращается в антисоветскую пропаганду со стороны самих Советов, сеет внутреннюю рознь и дает оружие в руки врагов.

России сейчас необходимо, чтобы наряду со свободой церкви и религиозной жизни была бы дана свобода мысли и литературы. Никакая власть мира, будь то власть святых, ни при каких условиях не смеет утверждать диктатуру над духом, она не может

этого делать и при существовании экономической и политической диктатуры, которая не есть нормальный и желанный строй, но иногда оказывается роковой необходимостью. Диктатура над духом, над творчеством, над мыслью и словом есть не необходимость, а зло, вытекающее из ложного мировоззрения и ложного направления воли к властвованию. Так порождается лишь рабство. В этом главная трагедия России. Об этом нужно говорить правду, и правда эта направлена не против Советской России, а в ее защиту. Диктатура над духом есть неверие в свой народ, такое же неверие, какое мы видим у непримиримых врагов Советской России, которые ничего, кроме зла, в ней не видят и ставят крест над русским народом. Таковы многие русские в Америке. Во имя веры в русский народ и в его призванность осуществить более справедливый социальный строй, чем буржуазные демократии Запада, нужно требовать свободы духа, вести, мысли, слова, творчества, невмешательства власти в свободные дела духа. Пусть власть способствует экономическому развитию России и подготавливает военную защиту России на случай необходимости, но не вмешивается в духовную культуру. Принципиально несколько не меняет дела, когда говорят, что все это делает не власть, а партия. Никакая партия, никакая власть, хотя бы в трудный переходный период, не может претендовать на полное выражение души народа, его воли, его творческих исканий. Всякая власть всегда частична, а не тоталитарна, всегда должна быть подчинена высшим целям. Не думаю, чтобы Россия шла к демократиям западного типа, она создаст свой тип советской социальной демократии, но она должна идти к свободе, к реальной свободе. И русский народ должен оставаться верен русскому универсализму. Замыкание в национализме было бы изменой русской идее. Монастические, монолитные притязания власти и партии есть соблазн, это есть ложная религия, лжерелигия. Нужно верить в животворность свободы. Это и есть вера в творческие духовные силы, а не в одну только материальную необходимость. Верю, что эти силы есть в русском народе.

Русские новости. Париж.
1946, 6 октября

Публикация **К. М. ПОЛИВАНОВА**

ПОЭЗИЯ И НАУКА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА СТРАХОВА

В истории культуры Наука шла обычно вслед Искусству: очень часто ученый открывал такие уголки смыслового пространства, где задолго до него уже побывал поэт. (Конечно, такая «преемственность» нередко оставалась тайной для обоих.) Вымысел художника предвосхищал концепцию ученого, а поэтический троп со временем превращался в научный термин. «Век вывихнут» («the time is out of joint») — неужели этот образ Шекспира хоть сколько-нибудь более метафоричен, чем эйнштейновское «искривленное пространство-время»?

Если Наука наследует Поэзии бессознательно и постоянно, то обратное воздействие Науки на Поэзию осознанно и требует особых условий. Первое среди них — это место, которое заняла наука XX века в ряду других областей культуры. Все важнейшие события в жизни человеческого духа связаны именно с нею, как прежде они были связаны с Религией, а потом — с Искусством. Высокая ценность научного творчества predeterminedена его «разрешающей способностью»: по пути Истинного Гносиса ученый может сегодня продвинуться дальше жреца или поэта.

Наука наших дней ассимилировала функции других сфер культуры: ее результаты призваны удовлетворять этический и эстетическим требованиям. Однако авторитет подлинного знания так высок, что накладывает отпечаток и на Новое Искусство, и на Новый Культ — возможно, тем самым разрушая их изнутри. Экспансия Науки усиливает рефлексию всей духовной культуры, уничтожает *differentia specifica* различных областей творчества, их самостоятельность и самоценность. Это значит, что произведению Искусства, если оно хочет быть живым явлением

современности, мало высокой интеллектуальности самой по себе — оно должно строить такую картину мира, которая будет до конца понятна с точки зрения нового научного мировоззрения и внутренне ему созвучна.

Александр Страхов — не только большой поэт, но и выдающийся филолог. Поэт-ученый — это и есть тот эксперимент на выживаемость, который ставит современное Искусство. Понять, как соприкасаются различные грани его таланта, тем более интересно, что объектом научного и художественного творчества А. Страхова является Слово — в первую очередь, слово в ритуале и мифе. И стихи А. Страхова, и его исследования опираются на один и тот же этнографический материал, по-разному его интерпретируя. Отзвуки народной духовной культуры — славянской, балтийской, общеиндоевропейской — слышны едва ли не в каждом его стихотворении:

На тысячи верст растянулся обоз.
Ни скрипа, ни звяка . . . И еле
Ворсистою лапой касаются звезд
Ленивые ели.

В пиру да в дороге и смерть хороша!
К Татарину, Турке и Ляху
Вслед чумакам поспешает душа
По птичьему шляху.

Этот текст начинается загадкой (ср.: «Рассыпался горох на тысячу дорог»), и только стрелки елочных верхушек указывают на ее решение. «Обоз» (из первоначального *ob-vozъ) — это созвездие Большой Медведицы, в украинской народной астрономической терминологии — «воз». «Птичий шлях» — это не только Млечный Путь, то есть дорога в «ирей», «вырей», рай, куда,

по преданию, улетают на зиму птицы. Это еще и путь в царство смерти («В пиру да в дороге и смерть хороша!»): иноземцы, иноверцы — «басурманы» — выключены из православной жизни, их мир — инобытие или даже небытие. Туда — вослед улетающим стаям — отправляется после смерти человека его душа.

Но дело, конечно, не только в том, что поэзия А. Страхова использует материал, ранее собранный и осмысленный им самим и его учеными коллегами. Куда важнее, что такая поэзия предполагает в читателе не только знание разнообразных научных фактов, но и понимание научных теорий:

Раздастся звон, и замирают
Слова на языке свечи . . .
Как он серебрян! — то ключи
Бог подбирает к двери рая.

Тебя зовут! Спеши в леса,
Где, вешнему послушней пенью,
Стопу поставишь на ступени,
Ведущие на небеса.

Для того, чтобы ощутить смысловую гармонию этих строк, нужно помнить, что слова «ключ», то есть источник, родник, и «ключ», запирающий и отпирающий двери, имеют, вероятно, общее происхождение, причем не только в славянских, но, быть может, и в балтийских языках, где литовское *ašvaras* («глубокое место в реке, топкий родник на склоне горы») и латышское *atvars* («омут, водоворот») некоторые этимологи связывают с глаголом *vērti*, *vert* — («открывать, отворять, вдевать, пронзать, прокалывать»). Но весенние ключи не просто отмыкают воду — они служат символом пробуждения всей природы, отпирания земли и неба (рая). Еще А. Н. Афанасьев обратил внимание на то, что представление о рае соединяется у славян с водными источниками, с небесными дождевыми колодцами, обещающими плодородие земле: «Два братца (ведра) пошли в рай купаться» (вариант — «в воду»); согласно поверью, райское зимовье птиц расположено под водой. В конце стихотворения возникает образ шаманской лестницы, соединяющей небо и землю. Он берет не только эпическое, но и лирическое звучание, знаменуя собой вдохновение поэта, готового воспринять высшее откровение.

Пожалуй, глубже всего зависимость

поэзии А. Страхова от современной ему науки проявляется в единстве метода — исследований лингвистического и художественного:

На четыре лапы опер небеса
Мышелюбивый Бог:
Вдоль хребта — молочная полоса,
По брюху — точки блох . . .

Мирно над миром дышит клубок,
Но дымчатый сон неглубок.

Чуть одолеет зверя зуд,
Он гневно стучит хвостом,
И жадные когти из туч ползут
В набитый мышами дом.

И шарят, шарят в глазах, пока
В огонь не плеснешь молока.

В этом стихотворении А. Страхов находит неожиданное применение одному из наиболее универсальных методов сравнительной этнолингвистики. На основании индоевропейского и северокавказского поверья о том, что огонь, зажженный молнией, можно погасить только молоком, поэт «реконструирует», а на деле — создает «древний» космологический миф. Человеколюбивый Бог сотворил Вселенную в образе кота — кого же еще смогли бы утешить молоком люди-мыши? Животные и космические детали причудливо переплетены: «молочная полоса» — это Млечный Путь, «точки блох» — звезды, «жадные когти» — молнии. Оба лексических ряда разворачиваются параллельно: первый («лапы», «хребет», «брюхо», «хвост», «когти») и второй («небеса», «Бог», «мир», «тучи»). Ни астральная, ни бестиальная символика не реализованы до конца, но именно их взаимодополняемость создает действительное, а не метафорическое единство рождающегося на наших глазах мифа. Особенно остро это можно почувствовать, сопоставив стихи А. Страхова с известными строчками Маяковского, который сравнил Вселенную с дремлющим псом:

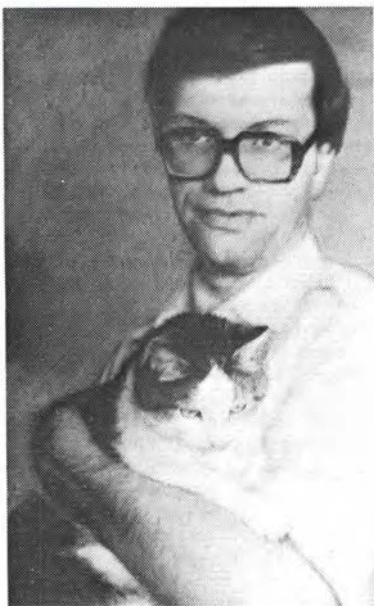
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

Не только эти — все стихотворения А. Страхова полны явных или скрытых цитат: филологических, исторических, этнографических (не случайны даже

реминисценции из Маяковского, языку которого А. Страхов посвятил некогда специальное исследование). Разумеется, восприятие таких произведений переходит из эмоциональной сферы в интеллектуальную и может быть рассмотрено как своеобразный научный акт. Новое Искусство требует от своего адресата не столько сопереживания, сколько сопонимания, — слушатель, читатель, зритель должен быть посвящен во многие тайны современной Науки.

И в то же время, было бы неверно определять своеобразие поэзии А. Страхова как синтез Науки и Искусства — это именно не синтез, а анализ. Так, «реконструкция» мифа о «мышь-

любивом коте» и связанного с ним ритуального жертвоприношения (молоко в огонь) способствует катартическому очищению научных сочинений А. Страхова от подобных фантазий, а игра с омонимами («ключи» от рая) — это, помимо прочего, еще и ирония над теми учеными, которые не видят принципиального различия между этимологией научной и поэтической. А. Страхов продолжает традицию, которая считает идею синтеза кощунственным порождением дилетантизма. Его идеал как поэта и ученого — это аристократизм анализа, позволяющий каждой форме и каждому жанру сохранить самоценность и до предела исчерпать свои возможности.



Александр Борисович СТРАХОВ (род. 10. XII. 1948, Москва) — поэт, филолог и этнограф. Окончил Московский университет (1972). Дипломную работу посвятил поэтическому языку Маяковского. Изучение драматургии А. В. Сухова-Кобылина («Дело» и «Смерть Тарелкина») пробудило у Страхова интерес к славянской народной духовной культуре, которая стала основной темой его научных занятий. В 1986 г. защитил диссертацию «Терминология и семиотика славянского бытового и обрядового леченья» (в настоящее время публикуется в ФРГ). Автор статей: «Балто-славянский миф о происхождении акста и античные параллели» (1979), «Элементы средиземноморского культа оспы в ритуалах и верованиях балканских славян» (1986), «Становление «двоеверья» на Руси» (1987), «К названию бога-громовержца в индоевропейских языках» (1987; совместно с С. Л. Николаевым), «О пространственном аспекте славянской концепции небытия» (1988), «Miscellanea meteorologica slavica: «Разрывание» радуги в Полесье» (1988; на англ. яз.), а также ряда работ по славянской этнографии, по русской этимологии и др. 14 марта 1989 г. эмигрировал в США.

Александр СТРАХОВ

ИЗ КНИГИ «ПРОБУЖДЕНИЕ»

• • •

Как не ценить деяний одеянья!
 Как не цедить их, таёя и тай!
 Я ль не Певец мушиного снованья?
 Я ли не Муж паучьего тканья?

Всю ночь от стула, насекомый витязь,
Не отрывай свербящего крестца!
А вы — наутро миру удивитесь,
Не сетуя на суетность Творца.

* * *

Окно раскрыто. Тяжело,
Просунув шею, словно в иго,
Набычась, бороздя чело,
Я черную читаю книгу . . .

И так без сна . . . Покамест утро
Не бросит луч на переплет
И строк сомнительная мудрость
Мне в жилы мрак не перельет.

* * *

Все — от луча, скребущего в окно,
До толп, чьи плечи от забот обвисли, —
Все — с неизбежностью подчинено
Владычеству моей упрямой мысли.

Но как с годами истончилась нить —
Та, мира и мою связующая души!
И я в недоумении: сохранить
Его как есть иль, подновив, разрушить?

* * *

Утомленный искать себе ровню,
Я с собой не скучаю, — отнюдь!
От груди не отнять ни одну
Из утех, сокровенных и кровных.

Но отнимут — и вовсе без гнева,
А зевая, слежу с облаков,
Как струится мое молоко
По стволу родословного древа.

* * *

Будь этот город тяжких снов
И яви, надорвавшей душу,
По мановению разрушен
До усталых костями основ,
И не сморгну . . . Хотя случись . . .
Не поручусь, что брошу камень
В того, кто долгими руками
Вновь стащит в кучку кирпичи.

* * *

Как смолоду граблено было и пито!
Как ветер хмелил спозаранья!
Бесовски в степи рассыпались копыта
Веселою мелкою бранью!

Во все распростерты стороны света
Молвою летели осколки . . .

Как смолоду плакано было и пето!
А пытано, путано сколько!

* * *

Стыдливые, мы душу в тело прячем,
Дела — в слова, под жирный грим —
года . . .

Уменье прорицать не зря дано
незрячим . . .

Так будь слепа и ты; особенно
тогда,

Когда из тьмы личин, из хаоса личинок,
Влекомый зовом заалевших щек,
Легко бутона уст коснется мотылек
Крылом и отряхнет пыльцу с
тычинок . . .

* * *

Когда закружится над домом
Перо, обрonnenное громом?

Когда свинцовая пчела
Коснется моего чела?

Когда зароет труп отца
Мой сын с поспешностью обидной
И злая участь мертвеца
Ему покажется завидной?

Когда прервут свой бег года?

— Жди и не спрашивай, когда.

Обзоры, размышления, рецензии

Андрей ЛЕВКИН, Вадим РУДНЕВ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

РАЗГОВОР ДВУХ КРИТИКОВ ПОНЕВОЛЕ

А. Р. Трудно, знаешь ли, придумать непосредственную тему для этого разговора кроме некоей производственной необходимости заполнить эзное количество страниц номера рубрикой с загадочным названием «Критика».

Когда купаться совершенно не хочется, но надо, то лучше всего сразу броситься в воду. И так, в чем же проблема? Нет, не так, ибо я лично проблемы никакой не вижу. Поставим вопрос по-другому: в чем мои коллеги по «Даугаве» видят проблему? Они говорят: «У тебя нет критики!» Или они говорят: «Книга не стала для журнала событием!» Я думаю, что и надо начать разговор с того, что такое книга и что такое событие. Дело в том, что я не разделяю мнение, что литература — это нечто серьезное, глубокомысленное, требующее ответственности и полной отдачи сил и здоровья. «Мы делаем литературу!» — говорят они. — Но критики у нас нет, и это очень скверно! Кто наш читатель?» По правде говоря, все эти восклицания и вопрошения наводят на меня тоску.

Таким образом, мне бы хотелось обговорить следующие вопросы. Что такое книга (КНИГА)? При каких условиях она может (и для кого) стать событием? И, наконец, какова роль такого понятия, как л е г к о м ы с л е , — мне все равно, в каком смысле: в абериутовском, пушкинском или в каком-либо ином.

А. Л. Сначала я хочу остановиться на том, что разговор происходит не вообще где-то и когда-то, а именно теперь, точный час и число и даже месяц — неважны, достаточно того, что в конце восьмидесятых. Иначе говоря, разговор не о литературе вообще, а о конкретном положении литературы и критики именно теперь. И, естественно, определяется теперешней ситуацией. Точку зрения на ситуацию следует рассказать сразу, поскольку ее изменение не входит в задачу данного текста. Речь о том, что теперь мы (по крайней мере,

по отношению к литературе) находимся в состоянии изменения, парадигмы. Иначе говоря, и даже не слишком огрубляя и усиливая ситуацию, мы не знаем, что в настоящее время является — так, чтобы указать признаки, приметы, особенности, — художественным произведением. То же самое — и о критике. Ситуация, надо отметить, вполне обычная; это какое-то реальное чередование жизни с устоявшимся бытом и моментами смены быта (ну, как при переезде, скажем). Трагичного тут нет ничего, напротив, по-моему, это как раз и интересно. Речь о меняющейся парадигме зашла потому, во-первых, что размышлять приходится, опираясь лишь — нету еé! — на внутренний здравый смысл да на непосредственный опыт практика. Во-вторых, при смене парадигмы как раз и невозможно дать определение тому, что есть книга (что включает в себя и какую-то чисто практическую растерянность перед, очевидно, в какой-то степени меняющимся функциональным назначением самой литературы), тому, какая книга является событием (что при смене парадигмы тоже сомнительно — какие явления могут оказаться событием?). Тем более, говорить о каких-либо условиях этого сочетания: «книга — событие». Что касается последнего вопроса — можно, впрочем, понять, что за текст (не будем пока говорить о книге) окажется событием в подобный момент — тот, очевидно, который внесет свой вклад в формирование новой парадигмы. Но теперь об этом говорить рано (на страницах журнала, во всяком случае). По поводу же серьезности или легкомысленности прилагательно к написанию текстов сказать ничего не могу: просто потому, что сам этот процесс — для меня, во всяком случае, — располагается в несколько другой жизни, нежели те, где применимы подобные оппозиции. Если вопрос касается отношения к тексту потом — к написанному, то и

тут ничего сказать не могу. Написалось и написалось. То есть требуется уточнить: событие где, для кого? Легкомыслие в чем? Что, кроме того, определяет журнал как таковой, что за литературу он к себе стягивает (если стягивает)?

В. Р. Так. Давай по порядку. Во-первых, я объясню нашим дорогим читателям (буде таковые найдутся), что ты понимаешь под сменами парадигм — сама мысль мне кажется верной и актуальной. Ты, вероятно, имеешь в виду то понимание понятия парадигма, которое употребил Томас Кун в книге «Структура научных революций». Там под парадигмой имеется в виду некий набор признаков, характеризующий данную научную систему; и те тексты, которые этому набору признаков не удовлетворяют, система просто отвергает. В дальнейшем этот набор признаков меняется, и формируется новая парадигма, новый мешок ценностей. Так вот мы сейчас находимся в достаточно психологически неприятной стадии смены парадигмы, поэтому те дорогие читатели и писатели, которые привыкли к стабильности, к **той** — им это неприятно, больно (сучуно, неинтересно, как бы сказал Зошенко).

В журнале «Юность» существует система испытательных стендов, где публикуют кусочками молодых поэтов. Это точка зрения **той** парадигмы. Я предлагаю в качестве эксперимента противоположное: давай в «Роднике» или «Третьей модернизации» устроим испытательный стенд для Распутина, Бондарева или Анатолия Иванова. С точки зрения нашей парадигмы это было бы более уместно, так как, по моему мнению, именно мы представляем культуру, а не они.

Теперь о легкомыслии. Я имею в виду одну простую психологическую закономерность: чем менее серьезно относится литератор к своему делу (СВОЕМУ ДЕЛУ), тем лучше и для него и для дела. Я понимаю, что для тебя эти проблемы не встают, но я хочу напомнить, что мы сейчас говорим не о своей литературе, а об их. У меня, конечно, совсем нет претензии исправлять нравы рижских литераторов. Бог с ними. Меня волнует другое. Представим на мгновение — что читатели «Даугавы» наши друзья. И вот начальство говорит им, что мы работаем скверно. Плохая у нас критика. Почему бы не привлечь Льва Аннинского? Что происходит в

латышской литературе? Объясните же нам, мы хотим знать!

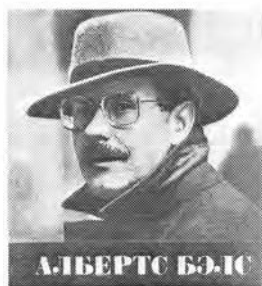
Ради всего святого, Андрей, расскажи мне, пожалуйста, что же происходит в латышской литературе, а то иначе меня уволят, я лишусь своего гиперболического жалования и вообще теплого местечка. Вот, скажем, Человек в Шляпе. Ну почему ты не стал писать о нем статью? Ну, что тебе жалко, что ли?

А. Л. Насчет самого понятия «парадигма» — все так. Именно отсутствие стабильности и важно: отсутствие статической системы миропонимания. В переходный период она, конечно, существует, но как-то иначе, проявляясь косвенно в текстах, например. Теперь о делах насущных: о человеке в шляпе я не стал писать прежде всего потому, что однажды о нем уже писал (в обзоре, тем более, что там речь шла о наиболее — по-моему — его серьезной вещи). Во-вторых же, потому, что сейчас — момент какой-то такой — я могу заниматься лишь тем, что меня интересует непосредственно. Здесь можно чуточку опять абстрактных материй, поскольку они констатны и привлечения Льва Аннинского. То есть все это изменение парадигмы на нашей скудной культурной почве ведет, по моему, к тому естественному явлению, что некоторая общая, тоталитарная парадигма, определявшая советскую литературу (говорю о советской, поскольку это: а) более наглядно и б) мы с этим соприкасаемся вплотную), рассыпается (крах «социалистической метафизики»). И переход происходит не к новой тоталитарной структуре, а, напротив, — ко множеству отдельных зон. Естественно отдельных и органичных. Я не знаю, как с ними разберется в ближайшем будущем советский читатель. Ведь тут ему не поможет даже критика — поскольку и на нее будет распространяться это зональное существование. Лев Аннинский — представитель весьма определенной зоны сов. литературы, зоны довольно агрессивной, желающей, видимо, занять освобождающееся место тоталитарной системы. Скорее всего (по отношению к прессе — а не к литературной среде) это и произойдет. Вообще это довольно интересный вопрос: вот есть некоторый художественный текст, есть критика вкупе с присутщим ей аппаратом анализа (будь то даже классовое чутье или личный вкус). Вот вопрос — куда критика, применив аппарат к художественному тексту, пе-

реводит последний? Надо полагать, переводит его в продукт, пригодный для питания данной зоны-группы. Естественно, что Руднев ничего не может сделать в ситуации, когда вкус руководителей «Даугавы» вполне удовлетворяем Львом Аннинским. Потому что Руднев — из другой зоны.

Что происходит слатышской литературой в целом? Случай Бэлса на самом деле довольно странный и, возможно, заслуживает некоторого изучения (пусть даже с точки зрения страноведческой). На мой взгляд, сегодня — это наиболее серьезный латышский прозаик. И то, о чем пишет Приедитис, — об отсутствии серьезной критической литературы о Бэлсе, — меня поразило. Впрочем, в свете изложенного им об отсутствии критики как таковой факт не удивителен. О латышской литературе же разговор может быть весьма тяжелый — но он должен быть очень солидно аргументирован, разговором, собственно, не обойтись...

Вероятно, причиной всему как раз отсутствие «своей зоны» — реальной своей среды, отражающейся в культуре; среды, которая своя — и этим все сказано. Которую можно окультуривать, развивать, что-то пропалывать, чему-то помогать расти. Выходит, что её пока нет. Что произошло в последние год-два? Люди, из молодого поколения, — которые делали вполне умелые и ладные тексты: то есть и с матерналом работали, и — как бы это сказали в России — «экспериментируя с формальными поисками» (и вполне безуспешно), — в последнее время обратились к вещам социального толка, как бы воскрешая для нас Некрасова или Максима Горького. Конечно, они правы, но, выходит, среда «формальных поисков» была неорганичной. Это было, что ли, место, где сублимируются. Как, кстати, происходило и в живописи — последние выставки тому хороший пример: и со всей разработанной (вполне европейского толка) технологией и техникой живописцы обрушиваются на стагнацию, мигрантов и кангаров. Единственной естественной зоной был язык: и именно там поэтому, наверное, и были основные достижения — Берзиньш, Куннос, Рокпеллис, Бриедис. В общем-то, происходит, наверное, — в латышской литературе — устроение своей среды за пределами только языка. Ситуация, в моем понимании, весьма драматическая, поскольку, с одной стороны, надо делать нечто общее и жизнеспособное — живущее не только на «национальной идентичности» и прошлом; как-то продолжать вперед. С другой же стороны — никуда не деться от вещей общечеловеческого, скажем, ха-



ЛЮДИ В ПОДКАХ
ГОЛОС ЗОВУЩЕГО
КЛЕТКА
БЕССОННИЦА

рактера: люди все же друг от друга отличаются. Трудно поверить, что национальная самостоятельность и целостность должны полностью устранить другие — духовного, скажем, склада отличия и пристрастия. Мне Дилан Томас, например, ближе, чем Фет.

В. Р. Очень хорошо. Мне бы только хотелось сразу, во-первых, отвести возможное обвинение в высокомерии по отношению к латышской литературе. Это высокомерие кажущееся. Скорее это реакция на агрессивность категорического императива, свойственного «Даугаве» как национальному органу и рупору: «Латышская литература была, есть и будет, а если бы ее даже не было, то ее следовало бы выдумать».

И во-вторых. Я бы хотел перевести разговор в конструктивное русло. Я считаю, что в Латвии есть прекрасная поэзия. Об этом при каждом удобном случае твердит В. В. Иванов. Но тот же Иванов, который два года назад обещал мне написать серию статей о латышской поэзии (заметь, тут разговор посерьезней, это тебе не Аннинский), этого на самом деле делать не будет. Оттого ли, что он относится с высокомерием к латышской поэзии? Нет. Он неоднократно говорил о том, что это поэзия — одна из самых сильных в Европе. По другим причинам. У него просто нет времени. То он в Турции, то в Венеции, то на Венере. Хорошо. Замечательно. Пусть. У нас нет валюты, зато есть Иванов. Но даже если у него нашлось бы время для латышской поэзии, то чем бы его могла привлечь «Даугава»? Именно «Даугава», а не любой другой журнал мира?

Ста восьмьюдесятью рублями за лист? Нет, этим она бы его привлечь

никак не могла, как бы ни старалась. Тогда, может быть, прибалтийской экзотикой? Но мы все-таки не папуасы, а он не Миклуха-Маклай. Я думаю, если бы ему предложили гонорар, соответствующий его положению в обществе, то он бы подумал и согласился. Ибо его время стоит очень дорого, а когда это понимают, то можно пойти навстречу.

Ну хорошо. Мы могли бы обойтись и без Вячеслава Всеволодовича, тем более, что денег у нас пока все равно нет.

Но скажите мне, где все эти Берзиньши, Кунносы и Рокпелнисы? Что-то я не вижу пока ни одной книжки на русском языке ни одного из них. Что рецензировать-то? Ведь львиная доля читателей «Даугавы» находится в РСФСР и речь может идти только о переводах.

И теперь о переводах. Когда-то, в 1984 году, «Даугава» уговорила Ю. Г. Цивьяна опубликовать переводы все того же великого Улдиса. Замечательно. Но опять-таки, почему вы удивляетесь, что из Цивьяна не удалось больше выжать ни строчки, когда время Цивьяна стоит не меньше, чем время Иванова?

Да-да, мы **хотим** писать о латышской литературе. Хотим, но не можем. Помогите нам. И желательно долларами, а не разговорами.

А. Л. Конечно же, никакого высокомерия в отношении к той или иной литературе быть не может. Даже не надо для примера брать отношения между литературами на разных языках. Пишут, скажем, митьки что-то свое — живут в своей зоне. Моя компания живет в зоне решительно иной, так что из этого? Высокомерие вообще продукт систем тоталитарно-иерархических. Это чуть ли не первый признак провинциала — а в тоталитарной иерархической системе провинциалом будет каждый, кто примет правила игры. И нам этот тоталитаризм на мозги давить будет еще очень долго. Он, прежде всего, неорганичен. Он уродует и естественный человеческий интерес: вот я о чем — нет на русском ни Рокпелниса — пока, ни книжки Кунноса, ни Берзиньша. Ладно, мы более-менее знаем рижскую ситуацию с переводчиками; учитывая и естественную опять-таки близость переводчика (и стиливую близость) к автору. Теперь, скажем, и с Рокпелнисом, и с Кунносом положение исправляется — хотя лучше бы эти книги вышли лет десять назад. Но, скажем, та же Москва —

переводят же и книги издают . . . А они не получаются, потому что тут вступают, видимо (иначе сей факт ничем не объяснить), какие-то иные интересы. Говорю об этом со всей уверенностью, потому что — на личном опыте поездок в обе столицы — люди, профессионалы (поэты, прозаики), узнав, что я из Риги, шлют — откуда угодно люди, из Армении, из Узбекистана — приветы и Янису и Леонсу и многим другим. Их — те, кому это важно, — знают. Для своей среды — они существуют. А во что превращается латышская литература для «массового», «широкого» русского читателя, когда переводы с языков «национальных республик» стали для журналов и издательств какой-то обязательной и мучительной (для самих авторов) программой. Вообще все, что происходило в последнее время с литературой, напоминает какой-то процесс создания общесъедобной массы, в которую то-сё понамышано, раскатано, перемешано и закатано в банки — то бишь в журналы. Я, допустим, не могу сообразить, почему, например, невозможны издания чисто поэтические — да не как исключения, вроде альманаха «Поэзия», — а как обыденное явление. Отдельные журналы поэзии, причем такой поэзии — и другой. Прозы, прозы исторической (даже бедолаги-фантасты который год бьются над чисто фантастическим журналом — притом, что окупаемость ему была бы гарантирована со свистом). Потому, наверное, что всякий из отечественных литературных журналов в точности повторяет структуру правления Священного Союза Писателей: вместо секретаря по тому-то — соответствующий раздел. И все — под одной обложкой. (Все, в свою очередь, берет начало из оргбюро тов. Сталина, да это уж лирика.) Почему в Латвии не может выходить — отдельно, пусть раз в два-три месяца, но — журнал чисто поэтический: пусть даже чисто переводной, пусть даже небольшим тиражом? Почему надо склеивать вместе в обязательной программе — как в «Даугаве» — латышскую литературу и русскую, мучительно соблюдая пропорции — столько-то такой, столько-то этакой — и нечто живое становится обязателькой. («Родник» — скажем, в этой двуязычности все же более естествен — по причине как бы одного возраста пишущих. То, что это журнал более-менее поколения — как-то ситуацию спасает.) Ситуация, локально ре-

зомируя, довольно печальная: с одной стороны, латышская культура еще все же не находится в состоянии органического развития, она, скорее, накапливает возможности для возвращения к естественной жизни (опираясь при этом на предание — которое на то и предание, чтобы его основные моменты было передать невозможно); с другой же стороны — сами журналы организованы таким образом, чтобы вернуть эту — грядущую органику — в состояние аморфной массы. Перемолоть всеми этими рубриками, юбилеями и критикой с точки зрения вообще — то есть направляемой никому.

В. Р. И я хотел бы еще добавить несколько слов опять-таки про перевод. Конечно, Улдиса, Юриса и Яниса переводить гораздо труднее, чем Иманта (и того, и другого), Ояrsa и т. д. и т. п. И здесь, как мне представляется, возможность только одна. А именно: отказаться от того, крайне устаревшего, папуасского способа переводов стихов, а перейти к тому, на который давным-давно перешла вся просвещенная Европа. Способ прост и надежен. Он содержит в себе два момента. Первый: стихотворение любой метрической структуры переводится не то чтобы верлибром, но не сковывая себя никакими рамками, крометех, неуловимых, которые и представляют собой смысл поэзии. И второе — рядом давать попросту оригинал. Почему-то наш отдел поэзии считает, что читатели на него за это непременно бы обиделись.

А теперь о читателях. Вернее, о читателе, о том мистическом ЧИТАТЕЛЕ, которым меня постоянно стращают на заседаниях редколлегии. «Это не для широкого читателя! Читатель вас не поймет! Элитарность! Тартуская школа! Птичий язык!»

Язык у нас как раз один — русский (в скобках — латышский; ненужное зачеркнуть). А вот существует ли этот пресловутый читатель, в этом я сомневаюсь. Давайте не будем более (далее) закрывать глаза на тот факт, что в сложившихся условиях, когда существует один дохленький «взрослый» журнал на всю великую Латвию, редакция которого формировалась постепенно в течение десяти лет, говорить о каком-то единстве просто смешно. Читателей столько же, сколько отделов в редакции, и эти «возможные миры» практически не соприкасаются. Публицистика про Фому, культурология про Еремю. Я, по правде говоря, сомневаюсь в

необходимости такого журнала, где на одном конце говорится об антисемитизме со ссылками на основоположников, а на другом Витгенштейн мечтательно размышляет о невыразимости этики.

А. Л. Может быть, это в сторону — о теперешней европейской традиции перевода и о «нормальном» положении дел, но момент существенный: речь то — в случае традиционного перевода — идет как раз о вульгарной, какой-то школьного, что ли, толка метафизической литературе — точнее, о подобном взгляде на нее. То есть, что такое добротный перевод? — факт дословного переложения на иной язык подразумевает в глубине себя возможность дать некоторую точную аналогию произошедшему на другом языке. Перевод — традиционный — прикидывается эквивалентом, причем — если это не заведомая работа автора по-своему над привнесённым материалом (то есть если его делает не поэт): перевод в никуда. Это какой-то такой и язык и полное отсутствие времени написания этого текста . . . что где-то все существует не у нас. Есть, наверно, точность в передаче слов и, возможно, даже настроение, но — грубо говоря — непонятно, откуда, из какой жизни и времени этот — переведенный — текст. Но здесь, собственно, в рассуждении об этой скобяной метафизике, нет особенного ухода в сторону, поскольку для меня все это как бы и одно: холодно и педантично перелагаемая лирика; среда, где иерархически расставлены классики, где описание полагается тождественным предмету. Там же и представление об этом самом читателе. Ну ладно, не будем опускаться до известных взглядов, что «писатель пишет, а читатель читает», причем первый пишет то, что помогает второму стать тем-то и тем-то . . . но ведь просто решительно непонятно, кто и почему читает. Я ведь вот о чем: о неорганичности подобных представлений — что есть читатель, «профиль издания» — будто бы с этим самым читателем надо встречаться на некоторой середине, вот на этой самой метафизической территории: в пространстве понятий «профиль», «направленность», «элитарность». Как бы планируя в этом пространстве все возможные варианты отношений между журналом там и читателем тоже там. Читают же здесь и теперь — каждый по-своему, слабо соотносясь с понятием «читатель» как таковой. Это

если к полувысоких материях. Если о почти быте — то какой смысл имеют разговоры о взаимоотношениях читателя и журнала, когда сам журнал эти отношения в состоянии регулировать весьма слабо. Собственно, я возвращаюсь к сказанному: если журнал формируется и строится так, как все они строятся по сей день, — никаких серьезных личных отношений журнала с читателем (реальным) быть не может. Журнал в этих условиях — не отдельная, скажем опять, зона. Не отдельный образ жизни. Это какой-то комплект «Дорожный» — вареное вкрутую яйцо, сарделька, пачка печенья, пара ирисок и половина огурца — если дело происходит летом. А если так — что сетовать на несовместимость отдельных материалов? Дорожный набор и дорожный набор. А разговор, очевидно, происходит не всерьез, а так... Как, кстати сказать, любопытен процесс перемалывания — нынешний — журналами официальными материалов из журналов самиздатовских. Не в том дело, что материалы, отдельные тексты что-то теряют при переносе в чужую среду, нет — не все (да большинство, просто) не теряют. Но отчетливое ощущение, что из реальной живой среды устроено — бог весть кому нужное — препарирование. В общем, все это очень похоже на стандартный праздничный концерт прежних лет. Кажется, на официальном языке это называлось «единство в многообразии». Собственно, я просто достаточно пессимистичен и скептичен по отношению к существующим официальным журналам: это все — на самом деле — не всерьез, если честно. Какой у нас в стране лучший литературный журнал? Да ведь «Митин журнал» Волчека, нет разве?

В. Р. Я уже хотел было закругляться, но раз уж речь зашла о неформалах...

Нет, я не знаю, не могу сказать, какой журнал лучший. Мне чем-то ближе «Третья модернизация». Пожалуй, легкомыслием этим самым... Впрочем, «Митин» я читал довольно мало номеров. Но я думаю, что когда-нибудь эти журналы надо будет издать, так сказать, факсимильно, как герценовский «Колокол» или пушкинский «Современник».

Напоследок я вообще хотел бы поговорить о чтении. По-моему, чтение — это дурная привычка современных людей и больше ничего. Очень многие

поэты древности и средневековья были неграмотными. И на этот счет у меня есть конкретный совет дорогим читателям: если не можете не читать вообще, то читайте как можно меньше. Перефразируя афоризм основоположника даосизма-ленинизма, скажу: Ах, где мне найти читателя, который не прочитал ни строчки! Ну а ты, Андрей, чего бы ты хотел пожелать читателю многострадальной и полноводной «Даугавы» нашей?

А. Л. Мне хочется немного доопределить ситуацию нашего разговора (это, наверное, теперь совершенно необходимый навык — постоянно определять ситуацию). Ситуация же заключается в том, что два штатных сотрудника двух рижских русскоязычных журналов и — кроме того и прежде всего — литератора находятся в состоянии раздвоения личности. Сама литература для нас, вне всякого сомнения, серьезна даже в своей легкомысленности как занятие, а вот журнальное дело — в теперешнем его виде... тоже, конечно, предмет серьезный, но... это какая-то другая серьезность. Видите ли, дело в том, что литература — дело, в общем, кровное, а соответствующие этому делу структуры общественные — не очень. Они — в теперешней своей форме и виде — кем-то придуманные. Иначе говоря, есть несоответствие между литературой как общественным явлением и литературой как голоса (не учитывая самиздат). Сохраняется этот порог — само понятие официального: как нечто чужеродного, придуманного, служащего чем-то еще, кроме просто публикации текстов. И таковой эта официальная среда быть не перестает. Что может измениться? Что, точнее говоря, должно измениться, чтобы обе эти части литературного процесса (личная и общественная) соответствовали друг другу? Должна, видимо, полностью измениться структура издательского дела. Должны иссякнуть журналы-мастодонты с миллиардными тиражами. Должны возникать журналы с тиражами в три-десять тысяч, которые не чьи-нибудь органы, но существа вполне самостоятельные. Если произойдет так — пожелать следует не пугаться возникающего разнообразия. Если же не произойдет — что уж тут пожелать...

В. Р. Аминь!

ТЕАТР ГОВОРЯЩИХ КРАСОК И ФОРМ, ИЛИ ГАЛЕРЕЯ ART

Хотите вырваться из плена повседневности, пусть ненадолго? Поезжайте в Ригу, посетите «Театр говорящих красок и форм» — вторую выставку рижской группы неофициальных художников «Свободное искусство» — Галерею Art, расположенную в центре города в стеклянном крыле «Ригас модес».

«Свободное мышление, свободное видение мира, анализ и эксперимент, идея и развитие, свободный полет фантазии — никаких границ!

Искусство не обязано быть официальным. Мы против идеологии в искусстве, недопустимо использовать его для пропаганды политических лозунгов!

Бытие не определяет сознание. Наоборот — сознание творит бытие. Люди должны быть наполнены той теплой жизнью, которая названа была однажды душой», — провозглашают художники СИ в своем манифесте.

Группа СИ существует с марта 1988 г., когда состоялась ее первая выставка, открытая, как и вторая, без разрешения официальных инстанций (Мини-

стерства культуры, Фонда культуры, Союза художников республики). Инициатором выставки был В. Павлов, член Латвийского СХ, ТЭИИ, вошедший позднее в оргкомитет СИ наряду с художниками И. Леонтьевым и М. Рамусом.

Устои СИ истинно демократичны. Единственное условное членство — участие в выставках. Состав авторов пестрый. Большинство — неофициальные художники, есть члены СХ; профессионалы и любители. Такое сочетание двух культур (официальной массовой и неофициальной малой), их переплетение и взаимопроникновение традиционно для Латвии.

Я назвала выставку рижан «Театром говорящих красок и форм...» В этом театре уживаются 35 режиссеров — художников, очень разных, но искренних и свободных. Будучи гостем в Риге, я уезжала накануне вернисажа, поэтому осталось ощущение, будто я побывала на репетиции необычного спектакля. Картины, подобно актерам, «волновались», беспорядочно «толпились», выстраивались цепочкой, «соглашались

и спорили», перетасовывались в меняющихся мизансценах — словом, казались мне не менее живыми, чем суетившиеся в зале их создатели. Сначала они не замечали моего присутствия. Картины и скульптуры уклонялись, «отворачивались», сновали с места на место, не давая себя рассмотреть. Авторы, временно превратившиеся из волшебников в скромных ремесленников, деловито вбивали гвозди, драпировали стены, прикрепляли этикетки.

Уходить мне не хотелось, и я стала осваиваться в роли робкого «человека-невидимки». Избавиться от неприкаянности помог доверчивый Домовой с картин Д. Парамонова. Он обратился ко мне с немимым предложением знакомства, потому что одиноко скучал в печном закутке. Теперь я почувствовала себя не случайным пришельцем, а гостьей.

Поблизости перешептывались о чем-то белокурый высокий человек и Красный слон, сидящий скрестив босые ноги на каменном постаменте. У обоих были одинаковые грустные усталые серые глаза. Правда, художник А. Нежданов оказался более общительным, чем его фотореалистический экзистенциальный двойник — «Человек-слон». Последний предпочитал молчать, углубившись в себя и, кажется, слушал заунывную индийскую музыку. В это время Нежданов рассказывал о рижской художественной кооперативной галерее «Шартон», которой он руководит.

Порывисто, быстро подошел ко мне темноволосый парень, открытый, контактный. Зовут М. Танненбергс. Академию художеств не закончил, прикладник, работает на Рижской киностудии, занимается благотворительной деятельностью, сторонник движения Зелёных. Вот его автопортрет «Selavi».

Наплывающие один на другой кадры фильма-жизни. Неравнодушный, страстный, ранимый лик Мастера на мучительно-красном; рука с бокалом над небрежно накрытым столом, витающая наверху сладострастная дива и неповторимый профиль Старой Риги в голубом проеме окна...

Вечная тема — художник и социум. Горькая и светлая, исполненная экспрессии исповедь, после которой я перестала ощущать неуют и неловкость чужака, проникшего за «кулисы». Почувствовала с удивлением, что начинаю влюбляться в Ригу через Галерею Art. В чем же секрет силы притяжения этой

скромной недемонстративной выставки? Я часто посещаю в Москве экспозиции более известные, «громкие» — отечественные и зарубежные. В чем особенность «Свободного искусства»? От чего и для чего они свободны?

Я давно убедилась, что художнику, в отличие от обывателя, не дано крикнуть душой незаметно. Он обнажен. Не надо применять хитроумные тесты, чтобы понять, из чего состоит душа художника. Достаточно видеть его произведения. Члены группы СИ, такие непохожие один на другого, свободны от необходимости лгать, фальшивить, угождать вкусам властелинов и публики. Они объединились для свободного творчества.

Возле одних работ застывала надолго. С другими знакомилась мимолетно. Но общее стойкое впечатление — я здесь среди друзей, они не обманут, им можно верить — сохранялось все время.

Выразительно-серый с плавной летящей походкой и спокойной веской речью, он выделялся среди собратьев и казался настолько необычным, отстраненным, что я сперва не решалась приблизиться. После узнала, что это М. Рамус, участник движения Харе Кришны. Разговорились, и он взволнованно, с болью гражданина рассуждал о Народном фронте, Интерфронте, исторической судьбе родной Латвии. Его большое полотно «У озера III» покорило поэтической мечтательностью, религиозной духовностью. Невесомые удлиненные фигуры-вестники в светлом (символы добра и свободы, зла и насилия), увенчанные белыми нимбами и черными флажками, скользят в медленном музыкальном ритме. Фоном служит пейзаж с кремово-охристыми холмами и берегом озера.

Потом вдруг наступила тишина, запахло горячим воском. Торжественные и скорбные библейские лица таяли как свечи в коричнево-прозрачном мареве. А. Гинзбург «Молчание».

Вывел меня из состояния отрешенности живописец И. Леонтьев, с которым сразу возник дружеский контакт. Его картины-притчи «Упавший», «Прогулка Харона» пронизаны узнаваемой мифологической и православной христианской символикой. Образы иллюзорны и вещественны. Они являются к нему из снов, музыки и веры.

— Вы верите в сны? А как по-вашему, существует ли магия? — спросил меня

И. Лазарь, всклокоченный, бородатый, с горящими глазами. Если я за время беседы с ним не успела до конца поверить в магию, то экспериментальное искусство Лазаря — «знакопись» — меня заинтересовало. Внимание сосредоточилось на загадочных «замочных скважинах», прорывающих глухую черную пелену на картинах «Путь», «Воспоминание». Лазарь утверждает, что, исходя из психофизики цвета и точно найденной формы, можно прийти к знакам-символам, которые воспринимаются всеми одинаково.

Работа А. Пожарского «Проникновение». Залитый кровавым прямоугольник напоминает знамя. Только небольшой кусочек сохранил свою первоначальную окраску — зеленую (пейзаж Латвии). В целом композиция читается как национальный латышский флаг. «Под сенью красного знамени не забывай о доме и национальной культуре!» — восклицает художник.

Мой первый день в Риге начался с огорчения: вернисаж СИ состоится на днях, а мне его дожидаться не суждено. Теперь же, забыв о времени, бродила по несуществующей пока выставке и радовалась, что попала на ее монтаж.

Я тоже участник представления, пусть самый второстепенный. Картины-«актеры» и их режиссеры приняли меня. Дистанция между нами, которая в начале была такой болезненной, сократилась. Каждый экспонат Галереи стал мне по-своему близок и дорог, хотелось написать обо всем, что увидела и впитала. Но опомнилась — надо пощадить терпение читателя. Лучше просто пригласить его в Галерею Art. Может быть, читатель вместе с уличными музыкантами с картины гостя СИ ленинградца Р. Каледина попадет в рождественскую сказку, как это случилось со мной. Карнавал-Гофманиада. Людичудовища, призраки, ведьмы, совы, пехухи и прочие персонажи немецких романтиков проносятся в вихре, творя бесовскую оргию. Эти зловещие оборотни — ваши старые знакомые из будней. Только без привычных масок деланого добродушия.

Наступил момент расставания с новыми друзьями из группы СИ, их Галереей и Ригой. Я не умею прощаться. Тихо покинула «Ригас модес» и направилась на вокзал, решив обязательно вернуться.

КАРТОТЕКА ЮРАСОВА

III



1. АМТМАН Теодор Фрицевич [1883—1938]
Латышский актер и режиссер. На сцене с 1903 года, работал в Рижском театре, в Таллине. С 1918 года в Москве, режиссер латышского драматического театра «Скатуве». В 1937 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
2. АПИН (Апинис) Ян [1892—1938]
Член КПСС, участник гражданской войны. На командных постах в РККА. Незаконно репрессирован в 1937 году, посмертно реабилитирован.
3. АРЕНС-КРОНБЕРГ Эмма [1892—1943 (?)]
Член КПСС с 1916 года. Репрессирована в 1937 году.
4. БЕРЗИН Рудольф [Герман] [1891 — 15 августа 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1910 года. Работал в объединении «Продукт» в г. Москве.
5. АУРЕ Рихард [1880—1942]
Член КПСС с 1908 года. До 1937 года жил в Ленинграде. Погиб в лагере.
6. АУСЕКЛИС Отто Андреевич [1894 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1910 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. 1930—1937 гг. — работал в Москве. В 1937 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
7. БАЛТАЙС Юлия Петровна [1890 — год смерти неизвестен]
В 1949 году незаконно репрессирована МГБ СССР.
8. БАРБЭ Антонина Казимировна [1897 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1916 года. Работала в комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР [1934 г.]. Репрессирована в 1937 году.
9. БЕККЕ И. А. [даты рождения и смерти неизвестны]
Рабочий Инзерского лесхоза Башкирской АССР. Арестован в 1937 году.
10. БЕККЕР-ГРАНС Генрих Самойлович [1879—1937]
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков [1933 г.] Жил в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
11. БЕРГМАН Яков Карлович [1898 — 14 сентября 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС. Работал мастером на заводе «Спартак» [1936—1937 гг]. Арестован 12 мая 1937 года.
12. БЕРЗИН Адольф [1890—1944 (?)]
Член КПСС с 1911 года. Жил на Украине, в Москве. Арестован в 1937 году.
13. БЕРЗИН Рихард Адамович [1897 — 19 апреля 1937 года «ВМН»]
Техник, работал на Урале.
14. БЕРЗИН Ян Петрович [дата рождения неизвестна — 1938]
Брат Эдуарда Петровича Берзина [1894—1938]
15. БЕРЗИНА Марта Петровна [дата рождения неизвестна — 1938]
Сестра Эдуарда Петровича Берзина.
16. БЕРЗИНА Эльза Яновна [1896 — дата смерти неизвестна]
Жена Эдуарда Петровича Берзина. В 1937 году арестована как «жена врага народа».

17. БИРКЕНФЕЛЬД Ян Александрович [1878—1952]
В 1949 году необоснованно репрессирован. Погиб в ИТЛ.
18. БИРКЕНФЕЛЬД Вероника Оскаровна [1882 — дата смерти неизвестна]
Жена Биркенфельда Яна Александровича. В 1949 году вместе с семьей выслана МГБ СССР в места спецпоселения.
19. БИРКЕНФЕЛЬД Николай Янович
Сын Яна Александровича Биркенфельда. В 1948 году репрессирован МГБ ЛССР.
20. БОБЕ (БОББЕ) Мица Юльевна [1896—1972 (Москва)].
Член КПСС с 1916 года. Член УКК — РКИ [1934 г.] Репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
21. БОКИС Эдуард Густавович [1892—1938]
Брат Бокиса Г. Г. Член КПСС с 1913 года. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
22. БРАНКАЛН Детлав Карлович [1898—1979]
Член КПСС с 1916 года. Участник гражданской войны. В 1918 году вступил в РККА, служил, работал в «Выстреле» до 1938 года. Незаконно репрессирован в 1938 году. Освобожден в 1940 году. Участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант [1942 г.]
23. БРИЕДИС Эмиль
Военный летчик, участник Великой Отечественной войны. В 1948 году репрессирован [15 лет ИТЛ]. Освобожден в 1954 году, реабилитирован в 1968 году.
24. БУМАН А. М. [дата рождения неизвестна — 1938 «ВМН»]
Военный работник. Работал в Осоавиахиме [Москва].
25. БУТКЕВИЧ Юлий Федорович [1892 — дата смерти неизвестна]
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года. Юрист, служил в НКВД Средне-Волжского края. В 1936 году окончил Всесоюзную правовую академию. Репрессирован в 1937 году.
26. ВАНДЕР Петр Петрович
Репрессирован в 1937 году.
27. ВАНАГ Николай Николаевич [1898—1937]
Член КПСС. Историк, профессор Комакадемии. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
28. ВАРБОТ Вольдемар Фрицевич [1903 — 19 апреля 1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1927 года. Инженер Коломенского машиностроительного завода. Арестован 14 февраля 1937 года.
29. ВАСТЕН Иоганн Андреевич [1882—1938]
Участник революционного движения с 1902 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
30. ВИЕСТУРС Эдвинс [1930—?]
Курсант Рижского речного училища в 1947—1952 гг. Арестован в 1952 году. Осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
31. ВИКИС П. Р. [год рождения неизвестен — 1937]
Член КПСС. Техник Ефремовского завода СК-3 [Тюльская область]. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
32. ВИКСНИН Рудольф [?!—1938]
Член КПСС
33. ВИКСНИН Симанис [?!—1938]
Член КПСС
34. ВИКСНИН Эрнст [?!—1938]
Член КПСС
35. ВИКСНИН Юлий [?!—1938]
Член КПСС.
36. ВИХМАН Александр Оттович [1884—1950]
Машинист Калининской железной дороги. В 1937 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован посмертно.

37. ВИХМАН Анатолий Александрович [1904 — год смерти неизвестен]
Сын Вихмана А. О. Старший машинист водокачки Калининской железной дороги. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован.
38. ВУЛЬФ Вольдемар Карлович [1896 — 25 августа 1938 года «ВМН»]
Военный работник. Начальник лаборатории кафедры военной истории Академии Генштаба РККА. Арестован 14 декабря 1937 года.
39. ГАЙЛИТ Екатерина Павловна [1896 — год смерти неизвестен]
Жена Гайлита Я. А., военного работника комкора. Незаконно репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
40. ГАЛВЫНЬ Мария Юрьевна [1894—1938]
Член КПСС с 1916 года. Участник революционного движения в Самаре. Работала в Иркутском обкоме ВКП(б) [1936 г.] Жена Силина Я. М. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
41. ГЛУЗДА Катрина Михайловна [1882 — год смерти неизвестен]
Жена Глузда Я. Б. В 1949 году выслана из Латвии в места спецпоселения.
42. ГЛУЗДС Ян Бернатович [1885 — год смерти неизвестен]
В 1949 году незаконно репрессирован.
43. ГРОБИНЯ Эльза
Литератор. Репрессирована в 1937 году.
44. ДАУГЕ Теодор [?!—1937] [!] погиб)
Член КПСС.
45. ДИМИТРИС Эрнст Петрович [1900 — 10 октября 1937 года «ВМН»]
Член КПСС с 1930 года. Майор РККА, помощник командира полка РККА.
46. ЕГОРОВА (ЛИЕПИНА) Элла-Марта (Евгения Николаевна) [1892—1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1911 г. Делегат XIX—XVII съездов ВКП(б). Секретарь ВЦСПС в 1935—1937 гг. Член ЦИК СССР. Работала в Ленинграде. Арестована в 1937 г.
47. ЖУБИТ Ян Янович [1893 — 26 июля 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1918 года. Участник гражданской войны. На партийной и советской работе в РСФСР.
48. ЗАЛИТ Ян Янович
В 1941 году приговорен к высшей мере наказания.
49. ЗЕМЕЛЬ Альфред Яковлевич [1888 — 19 ноября 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1926 года. Машинист железнодорожного депо станции Одесса.
50. ЗЕММИТ Карл Иванович
18 октября 1937 года приговорен к высшей мере наказания. Брат Земмита А. И. [1902—1937].
51. ИВУЛЬШ Янис
Литератор. Репрессирован в 1937 году.
52. ИНГАУНИС Феликс Антонович [1894 — 28 июля 1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1918 года. Военный летчик. Участник гражданской войны. Комкор [1935 г.] Начальник ВВС ОКВДА. Арестован 29 ноября 1937 года в г. Москве.
53. КАЛНИН Александр [1883—1944]
Член КПСС с 1904 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
54. КАЛНИН Альберт Янович [1878—1938 [!]
Член КПСС с 1903 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев [1934]
55. КАЛНИН Мария Оттовна
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков [1933 г.]. Жила в Москве. Репрессирована в 1937 году.

56. КАЛНИН Фридрих [1879 — 12 октября 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1914 года.
57. КАЛНИНА Августа [1889 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1913 года. Участница гражданской войны. Работала в КБ у Ильюшина, секретарем парторганизации. Арестована в 1937 году.
58. КАУШЕН (БЕРЗИН) Ян [1905—1940]
Член КПСС с 1926 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
59. КРОНБЕРГ Фриц Иванович [?!—1941 [!]]
Арестован в 1940 году, в Латвии.
60. КРУЗЕ Замиль Замильевич [1871—1937]
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков и Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
61. КРУКЛИС Ян Андреевич [1891 — 4 октября 1938 г. «ВМН»]
Участник гражданской войны [1918—1920 гг.] До 1937 года жил в Москве, работал в артели.
62. КУШКЕВИЧ Карл Яковлевич
В июле 1941 года приговорен к высшей мере наказания.
63. ЛАЗДИН Рудольф [?!—1937]
Писатель
64. ЛЕЙМАН Вилис [?!—1937]
Журналист.
65. МЕВИУС Иван Карлович [?!—1939 «ВМН»]
Военный работник, служил в Харьковском военном округе. Арестован в 1938 году.
66. ОЗОЛИНА Нина Георгиевна
Член райисполкома в г. Ленинграде. Репрессирована в 1937 году.
67. ОСИС Фриц [1870—1937 [!]]
Член КПСС с 1904 года. Арестован 10 апреля 1937 года.
68. ОШЛЕЙ Петр Матвеевич [1888 — 3 октября 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. Корпусной интендант [1935 г.] Заместитель командующего Московским военным округом. Арестован 31 мая 1937 года.
69. ПАВАСАР Ян Мартынович
Незаконно репрессирован в 1937 году.
70. ПАУЛЬСОН И. И. [?!—1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1918 года. Участник троцкистской оппозиции в 1927 году. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
71. ПЕТЕРСОН А. А. [?!—1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1917 года. Участник троцкистской оппозиции в 1927 году. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
72. ПЕТЕРСОН Владимир Иванович [1878 — 19 сентября 1937 «ВМН»]
Рабочий паровозного завода в г. Ленинграде.
73. ПЕЦУЛЬ Эмма Карловна [?!—1938 [!]]
Член Нарвского райисполкома в г. Ленинграде [1934 г.]
74. ПЕШЛАТ Артур Августович
Работал в Московском райисполкоме г. Ленинграда. Репрессирован в 1937 году.
75. ПОДНИЕК Виктория Юрисовна
Репрессирована в 1937 году.
76. РОЗЕН Рихард Эдуардович [1906—1937 (расстрелян)]
Жил в г. Ленинграде
77. РОЗЕН Мильверт Иоганнович [1905—1937 (расстрелян)]
Жил в Ленинграде.
78. САКС Ян Карлович [?!—1937 [!]]

- Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
79. САЛИН Петр Янович [1886—1937]
Член КПСС с 1904 года. Участник революционного движения в Латвии в 1905—1907 гг. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Был на торговой работе — эксперт в промышленном объединении, г. Москва. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
80. САЛНА Рудольф Янович [1892—1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1911 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Работал в Наркомате РКИ СССР в 1920—1932 гг. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
81. САЛЬМИН Рудольф Петрович [1903 — год смерти неизвестен]
Работал на Ленинградской железной дороге. В 1942 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
82. САУЛИТ Кришьян Кришьянович [1889—1937 (!)]
Член КПСС с 1910 года, член Всесоюзного общества старых большевиков. Работал в издательстве «Прометей» [1935—1936 гг.] в г. Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
83. СВИРС Петр [1891—1941]
Писатель. Член латышской секции Коминтерна до 1937 г. [Москва] Член КПСС с 1911 года. Участник революционного движения в России. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
84. СЕГЛИНЯ Паулина [1892 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. Начальник отдела милиции в г. Ленинграде [1933 г.] Репрессирована в 1937 году. С 1941 года — участвовала в Великой Отечественной войне.
85. СИПОЛС Отто [1881—1938 (!)]
Участник Октябрьской революции в Петрограде. С 1923 года работал в Петрограде. Арестован в 1937 году.
86. СКУЯ-НИКОЛАЕВ Ян Георгиевич
В июле 1941 года приговорен к высшей мере наказания.
87. СМЕРЛИН Ян [1876—1941 (!)]
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в Латвии. Жил и работал в Москве. В 1932—1938 гг. — персональный пенсионер. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
88. СМЕРЛИНА Альвина [1887—1937 (!)]
Член КПСС с 1906 года. Участник революционного движения в Латвии. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
89. СМЕРЛИН Ян [1885 — 8 июня 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1906 года. Брат Смерлиной А. Участник революционного движения в Латвии. Работал в СССР. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
90. СМИЛТИН Петр [!—1937]
Член КПСС.
91. СПАЛИНСКИЙ Люциан Михайлович [1888—1937]
Член КПСС с 1907 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
92. СПАЛИНЬШ Эдуард Августович [1903 — год смерти неизвестен]
Радиомонтер завода ВЭФ. В 1940 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
93. СПИЛВА Ян Янович
В июле 1941 года приговорен к высшей мере наказания.
94. СПРИНГИС Петр Оттович [!—1937]
Член КПСС. Член Ленсовета в 1934 году.

95. СПРОГА Карл Петрович [1889—1937]
Член КПСС с 1907 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
96. СПРОГЕ Мартын Юрьевич [1879—1940]
Работал в паровозном депо станции Новоосокольники Калининской железной дороги. В 1937 году репрессирован. Посмертно реабилитирован.
97. СПРОГИС Отто Адамович [1879—1937]
Член КПСС с 1903 года, член Всесоюзного общества старых большевиков [1933 г.] и Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев [1934 г.] Участник гражданской войны в СССР. С 1933 года персональный пенсионер, жил в Нижнем Новгороде. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
98. СПРОГИС Фриц [1885—1938]
Член КПСС. Участник революционного движения в Латвии. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
99. СПРОГИС Яков Адамович [1886—1937 ?]
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссылопоселенцев [1934 г.]. Жил в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
100. СТРАЗДЫНЬШ Эрнест Яковлевич [1897 — год смерти неизвестен]
Жил в Ярославской области.
В 1944 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
101. СТРАУТИН Альберт [1896 — 2 августа 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1924 года. Участник гражданской войны. Секретарь Загранбюро ЦК КП Латвии и ИККИ [1932 г.] Арестован в 1937 году.
102. СТРАУТИН Карл Карлович
Член КПСС. Брат Страутина Э. К. Техник Запорожского металлургического завода. В 1938 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
103. СТРАУТИН Эдвин Карлович
Член КПСС. Брат Страутина К. К. Младший лейтенант госбезопасности. В 1939 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
104. СТРАУТЫНЬ Криш Янович [1887—1937]
Член ЛСДРП с 1905 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссылопоселенцев. Пал жертвой провокаций в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
105. СТРАУЯН Ян Янович [1884—1937]
Член КПСС с 1903 года. Участник революционного движения в Латвии в 1905—1907 годах. Работал за границей корреспондентом ТАСС. Пал жертвой репрессий в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
106. ТРАУТМАН-СТЕЛЬП Альберт [1887 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1902 года. Участник революционного движения в России. В 30-х годах работал в СССР. Арестован в 1937 году.
107. ТУПИТ Петр Францевич [1883—1937 (ИТЛ)]
Работал на Калининской железной дороге. В 1936 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
108. УЙСКА Роберт [1870—1937]
Участник революционного движения с 1909 года.
109. ФРЕЙ Петр Петрович [1882—1937]
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссылопоселенцев [1934 г.]
110. ЧЕВЕР Петр Августович [1888 — 18 апреля 1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1922 года. Рабочий паровозного депо Молотовской железной дороги.

[Продолжение следует]

Почта «Даугавы»

Уважаемые товарищи!

Публикации вашего журнала показывают, насколько насыщена, полноводна интеллектуальная жизнь Латвии. И журнал не только отражает общественную активность, но и будоражит общественную мысль (в лучшем смысле слова) и, что важно, занимает активную «перестроечную» позицию. Читая журнал, мы видим, насколько тесно переплетены латышская и русская культуры, что связи интеллигенции обоих народов имеют главный характер и не прерываются, т е журнал стоит на позициях интернационализма и на деле доказывает это. Но считаю необходимым упрекнуть журнал в узости взгляда, проявленной в публикации И Полоцка «Наручники» («Даугава» 1988, № 12). Заранее скажу, что ряд статье и думаю, что именно такие публикации, способствуя утверждению чувства самоуважения и независимости, создают лицо журнала. Однако я не считаю, что поступок Морриса Туянса неопосуден. Предположим, какому-то читателю NN не понравился какой-то автор NN, он вывесил плакат: «NN — нехороший человек». Как NN может защитить себя? В правовом государстве один из способов — обратиться в правоохранительные органы с просьбой защитить его честь и достоинство. И совершенно не имеет значения, если NN в глазах общества действительно нехороший человек, а также вульгарен, пройдоха, негодяй и т. д. — это только, говоря юридическим языком, смягчающие обстоятельства, но вина «читателя NN» в оскорблении несомненна. Может быть, не дело И Полоцка анализировать эту сторону конфликта — он ставил перед собой другую задачу, однако редакция должна была дать по этому вопросу какой-то комментарий.

Я чувствую, что замечание написано с некоторой запальчивости, но мы так привыкли не замечать унижений! И ваш журнал не должен опускать промехов в этом важнейшем вопросе.

С уважением А. ТАПИС
г. Михайловск Свердловской обл.

Уважаемый тов. Тапис!

Возвращаясь к давней истории с «Наручниками» и благодаря Вас за общую оценку статьи, хотел бы остановиться на той детали, которая привлекла Ваше внимание — как защищать свои честь и достоинство?

В принципе Вы совершенно правильно ставите вопрос: обращением в правоохранительные органы. И когда дело так называемого «частного обвинения» суд принимает к рассмотрению, оно становится предметом судебного разбирательства. Для этого необходимо, чтобы сам оскорбленный подал в суд. Но дело в том, что никто из лиц, упомянутых на плакате Морриса Туянса, не считал нужным обращаться в суд, и нам остается только гадать, почему они так поступили. То ли сочли эпизод малозначительным, то ли не увидели в нем для себя оскорбления. Начав же это дело прокуратура г. Риги, посчитав этих лиц лицами в творении советской власти. Суд, как Вы помните, Туянса безусловно оправдал.

В статье указано, что плакат носил нетактичный характер (кстати, поэтому Луяис сам и снял его еще до начала мероприятия) и надо сказать, что на многочисленных последующих митингах и демонстрациях в Риге плакаты такого характера больше не появлялись

С уважением Илан ПОЛОЦК,
зав отделом публицистики

Редакции журнала «Даугава»

В Татарский областной комитет КПСС из Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, прислано для рассмотрения письмо т. Шейко Р. И Автор выражает свое несогласие с обвинениями, которые даны в отношении ее матери — Фаридовой-Рахматуллиной М. А. в публикации Е. Гинзбург «Крутой маршрут» (глава 24).

По нашему поручению КГБ Татарской АССР изучил уголовные дела Рахматуллина И. Ш., Фаридовой-Рахматуллиной М. А. и других лиц, необоснованно репрессированных в 1937 году В материалах не имеется данных, свидетельствующих о том, что Фаридова-Рахматуллина М. А. давала заведомо ложные показания с целью улучшения своего положения или получения материальных благ и т. д

Считаем, что автор мемуарной повести «Крутой маршрут» Е. Гинзбург излагала ее содержание на основе собственных впечатлений, воспоминаний и могла допустить субъективную оценку событий, в частности по отношению к Фаридовой-Рахматуллиной М. А., не основанную на документах. Тем более, что они в период написания повести были совершенно недоступны.

Просили бы вас найти пути исправления допущенной ошибки по отношению к матери автора, ибо она поднимает этот вопрос вполне справедливо

М ОФИЦЕРОВ,
председатель комиссии
партийного контроля
при ОК КПСС

Уважаемый товарищ Офицеров!

Отсутствие материалов в деле еще не опровергает свидетельств Е. С Гинзбург. Тем более, что в деле, составленном в 1937 году, и не могло быть материалов именно такого рода: М. А. Фаридову-Рахматуллину репрессировали ведь не за дачу заведомо ложных показаний с целью получения материальных благ. Да Е. С. Гинзбург и не ссылается на дело Фаридовой — она действительно излагает собственные воспоминания

Тем не менее мы допускаем, что впечатления Евгении Семеновны могли быть в отношении Фаридовой субъективны Но давно нет в живых ни автора воспоминаний, ни большинства ее героев — и кристально чистых и не очень кристальных В любом случае, все они жертвы террора. И счета у нас к ним быть не должно По той же причине мы не считаем себя вправе сегодняшней рукой корректировать что-либо в многострадальной рукописи Е. С. Гинзбург или что-либо выпускать.

В ДОЗОРЦЕВ

Уважаемая редакция!

Получила № 12 журнала «Даугава» и решила вам написать Я считаю, что вы очень правильно сделали, опубликовав программу Народного фронта Латвии. Не секрет, что ситуация в Прибалтике вызывает интерес и опасения в других ре-

гионах страны. Судя по центральной прессе и письмам знакомых, обстановка там очень противоречивая и, действительно, лучше все узнавать из первых (желательно, объективных) рук. Однако в пункте 3 опубликованной программы выпущена часть текста (о чем свидетельствует многоточие), и это вызывает недоумение. Что же там за текст, который ваш журнал (вообще-то один из самых смелых в Союзе) побоялся опубликовать? Не можете же вы не понимать, что все недоговоренности рождают домыслы. Даже если вы считаете, что в этом месте у НФЛ явный перелест, то могли бы прокомментировать, но — документ есть документ.

Надеюсь прочитать в вашем журнале и программу Интерфронта. Пока по вашему журналу не видно, что он существует (т. е. есть мнения, отличные от НФЛ). Объективность важнее для доверия. Известно, что маленькое передергивание фактов (а от этого не избавиться, предоставляя слово только одной стороне) рождает большое недоверие. А вы должны отдавать себе отчет, что практически ваш журнал один из немногих, где латыши и жители Латвии могут сами, без посредников, рассказать о себе всему Союзу.

То что часть текста в программе НФЛ выпущена, — ошибка и, по-моему, ее надо быстро исправить.

С уважением РОДИОНОВА Т. А.

Уважаемая товарищ Родионова!

Многоточия в тексте, которые вызвали у Вас подозрение, что программа НФЛ подверглась цензуре, — всего лишь досадный типографский брак, за который приносим Вам извинения. Но тем приятнее видеть, как внимательно Вы читаете «Даугаву».

Относительно Интерфронта. Конечно же он существует и конечно же «Даугава» будет уделять ему внимание. Но чтобы не превращать журнал в сборник документов, мы предполагаем в недалеком будущем подготовить обзорную аналитическую статью о деятельности Интерфронта, в которой будет изложена и его программа.

С уважением зав. отделом публицистики
Ил. ПОЛЮЦК

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниекс, Юрий Житлухин, Айварс Лиепиньш.

Сдано в набор 03.04.89.
Подписано к печати 03.05.89. ЯТ 00128.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 15,25 усл. кр.-отт.,
11,14 уч.-изд. л. Тираж 80 000.
Заказ № 561. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996.
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. критики и публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

ВЫСТАВКА «СВОБОДНОЕ ИСКУССТВО»

(материал см. на с. 117)



Владимир
Павлов.
По мотивам
Нибелунгов



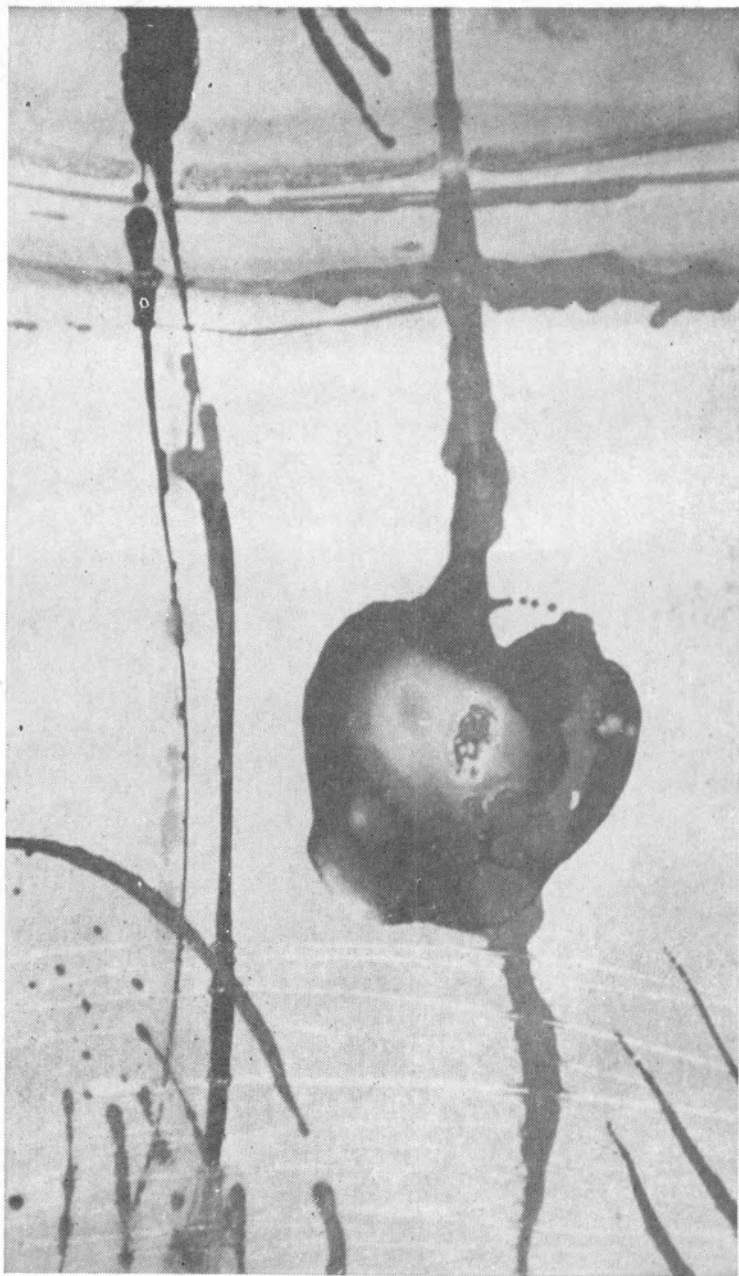


- ▲ Алексей Нежданов. Красный слон
- ▲ Игорь Леонтьев. Прогулка Харона
- ▲ Александр Гинзбург. Молчание



Александр Дукуль. Возрождение.

Фото Юрия Житлухина



Сергей Тарасов. Композиция.

Фото Юрия Житлухина

45 коп.

Индекс 77123